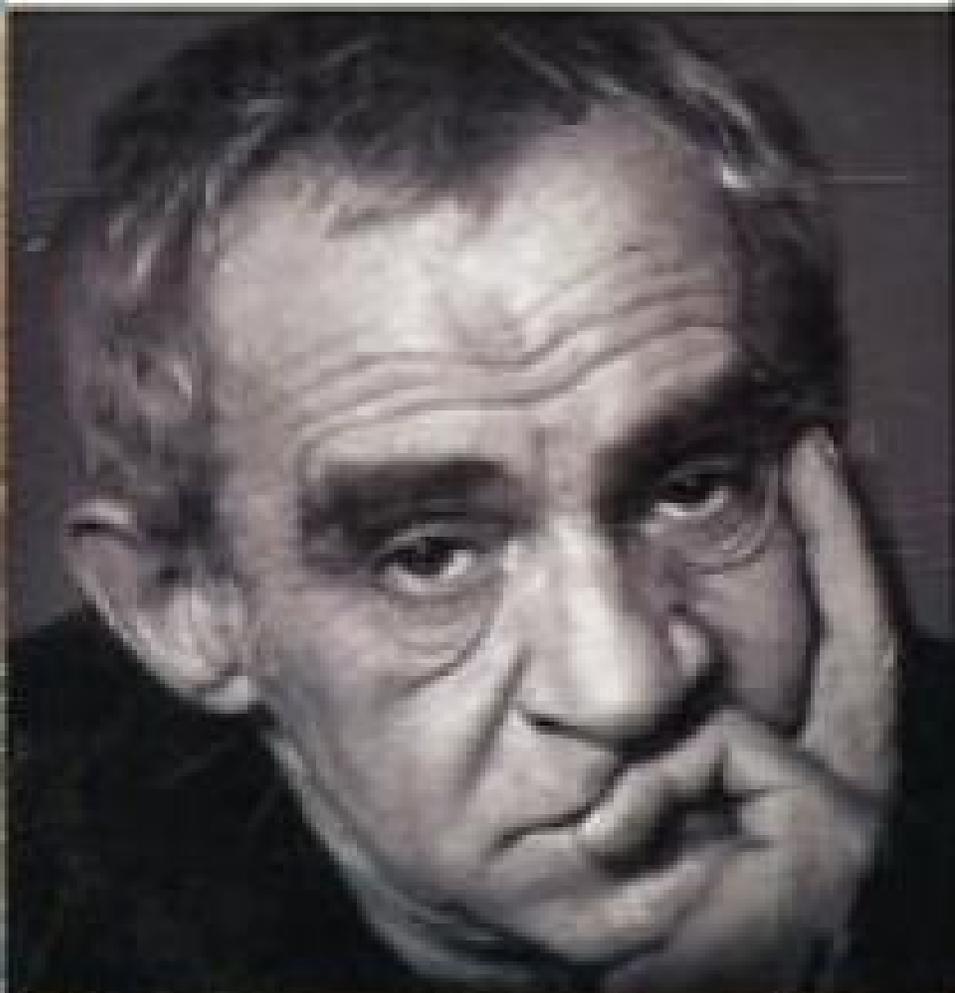


ЗИНОВИЙ ГЕРАТ



Мамбей
Тейзер

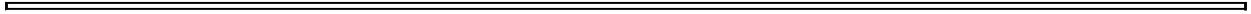


ЖЭЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Annotation

Зиновия Ефимовича Гердта называли «гением эпизода» — среди десятков ролей, сыгранных им в театре и кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая роль этого актера запоминалась зрителям: ведь в нее были вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, все чувство собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте вошли в книгу писателя Матвея Гейзера — первую биографию Гердта в знаменитой серии «ЖЗЛ».

- [Матвей Гейзер. Зиновий Гердт](#)
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [Глава первая «МНЕ ПОВЕЗЛО — Я ИЗ СЕБЕЖА!»](#)
 - [Глава вторая В МОСКВЕ](#)
 - [Глава третья ТЕАТР НА ЗАРЕ](#)
 - [Глава четвертая ВОЙНА](#)
 - [Глава пятая «О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ»](#)
 - [Глава шестая В ТЕАТРЕ ОБРАЗЦОВА](#)
 - [Глава седьмая «ТЕПЕРЬ ЭТО НАВСЕГДА»](#)
 - [Глава восьмая О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ](#)
 - [Глава девятая «ПОЭЗИЯ НЕ ПРОПОВЕДЬ, А ИСПОВЕДЬ»](#)
 - [Глава десятая МОИ ВСТРЕЧИ С ГЕРДТОМ](#)
 - [Глава одиннадцатая ФОКУСНИК В ФОКУСЕ](#)
 - [Глава двенадцатая НЕ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫЙ ФИЛЬМ](#)
 - [Глава тринадцатая КАМЕРТОН ВРЕМЕНИ](#)
 - [Глава четырнадцатая И СНОВА НА СЦЕНЕ](#)
 - [Глава пятнадцатая ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС](#)
 - [Глава шестнадцатая ГЕРДТ О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ](#)
 - [Глава семнадцатая ИЗРАИЛЬ И ГЕРДТ](#)
 - [Глава восемнадцатая «НЕ НАДО ВСЕ СВАЛИВАТЬ НА БОГА...»](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА З. Е. ГЕРДТА](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ](#)



Матвей Гейзер. Зиновий Гердт

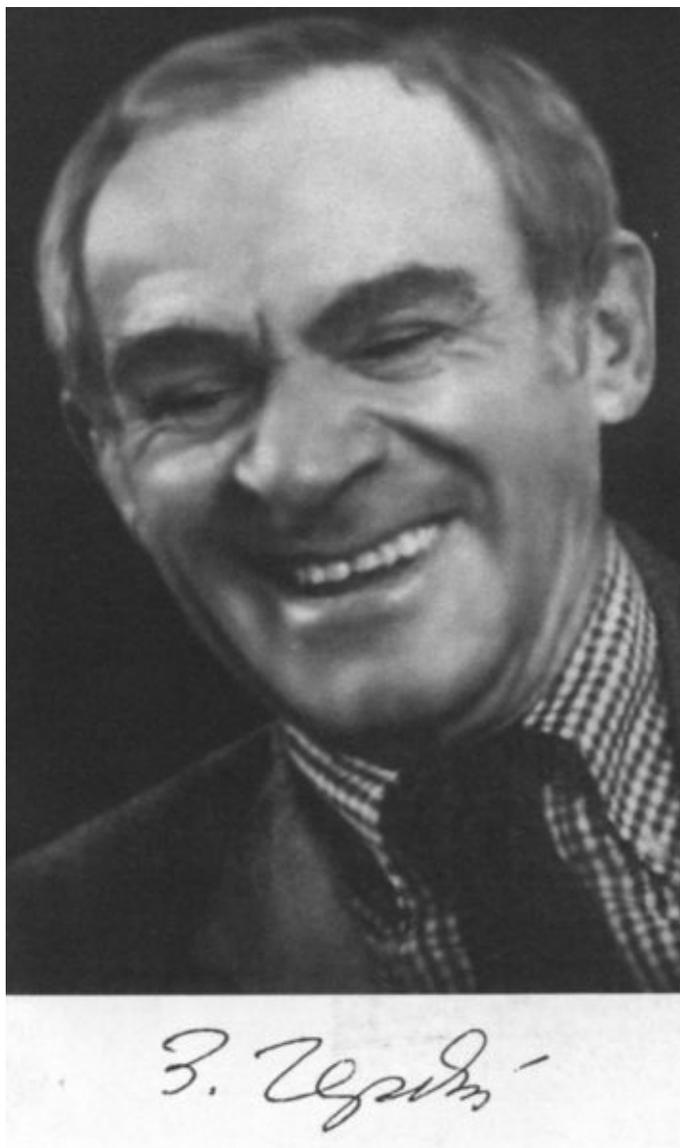
*Посвящаю эту книгу моей студентке и помощнице
Юлианне Медведевой*

*Артист совсем не то же, что актер.
Артист живет без всякого актерства.
Он тот, кто, принимая приговор,
Винится лишь перед судом потомства.*

*Толмач времен, расплющен об экран,
Он переводит верно, но в итоге
Совсем не то, что возвестил тиран,
А что ему набормотали боги.*

*Д. Самойлов — З. Гердту, 10 августа 1987
года*

ОТ АВТОРА



О Зиновии Ефимовиче Гердте, актере весьма заметном в разных ипостасях, сказано и написано немало. Уже вышло несколько изданий книги «Зяма — это же Гердт!» (первое — в 2001 году). Вновь и вновь выходящие в свет тиражи этого сборника воспоминаний пользуются неизменным успехом у читателей. Это не результат случайности, не следствие навязчивой рекламы: Гердта уважают и высоко ценят все, кто по-настоящему любит жизнь и искусство, а точнее — жизнь в искусстве. Своими воспоминаниями о нем поделились с читателями такие непохожие друг на друга, но одинаково талантливые люди, как Михаил Швейцер и

Давид Самойлов, Эльдар Рязанов и Петр Тодоровский, Валерий Фокин и Александр Володин, Валентин Гафт и Булат Окуджава, Михаил Козаков и Михаил Ульянов, Юлий Ким и Людмила Гурченко, Татьяна и Сергей Никитины, Евгений Миронов... Список этот, несомненно, можно продолжить, но, быть может, точнее всех озаглавил свои воспоминания о Гердте его друг Александр Анатольевич Ширвиндт: «Украшение нашей жизни». Случилось так, что Гердт своим искусством украсил жизнь нескольких поколений наших соотечественников с конца 1940-х годов и по сегодняшний день.

Книга «Зяма — это же Гердт!» появилась на свет благодаря стараниям жены актера Татьяны Александровны Правдиной. В этой книге она писала: «Так сложилось, что Матвей Моисеевич Гейзер и я ни разу не встречались, но считаю, что мы знакомы. Бывают ведь знакомства по переписке, а мы знакомы по телефону... Мне очень понравилось его эссе о Гердте “Какие наши годы! или Объяснение в любви”. Надеюсь, что читатели разделят мое впечатление. Думаю, после выхода этой книги мы, дай Бог, подружимся. Надеюсь, успеем», — пишет Татьяна Александровна. Слава богу, ее надежды оправдались. И при жизни Гердта, и после его кончины беседы с ней стали для меня продолжением встреч с Зиновием Ефимовичем. Ей во многом обязана своим рождением и эта книга, выходящая в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Зиновий Ефимович не раз отмечал, что своей задачей в искусстве он считает научить хоть кого-нибудь состраданию. И категорически не соглашался с теми, кто считал, что жалость может унижить человека — скорее наоборот, был уверен, что, как писал Борис Пастернак, «мирами правит жалость». Он говорил: «Наверное, есть чувство, которое надо в себе лелеять: жалость... или вина перед всеми. И то, что есть люди, которые за всю жизнь ни перед кем не извинились, не покаются, — это чудовищно. Помните, когда требовали покаяния от тех, кто орал в свое время на Пастернака, они говорили, что им не в чем каяться? Только Боря Слуцкий переживал после того позора в ЦДЛ, когда Пастернака исключили из Союза писателей. У Слуцкого были человеческие обстоятельства — ему пригрозили, и можно было оправдаться хотя бы перед собой. Но он всю последующую жизнь мучился чувством вины. Он сломался на этой вине. А другие, видите ли, ни в чем не каются...»

Однажды я услышал от Зиновия Ефимовича, что подлости нельзя делить на большие и маленькие, тайные, надеясь на то, что о последних никто никогда не узнает: «Ведь есть реле, которое срабатывает: “Не надо!” Ничего хитрого и мудреного в этом механизме нет. Просто щелчок: “Не

надо!»». В этом безошибочном нравственном чутье, глубинном неприятии всего подлого и пошлого — весь Зиновий Гердт.

Быть может, одна из главных мыслей Гердта — это его рассуждения о библейских заповедях: «Опыт этих прописных истин передать невозможно, к нему ты должен прийти сам, и никто тебе в этом не поможет». Гердт убежден, что жить надо не только достойно, но и с достоинством. Он не однажды утверждал: «Бога нет, но жить нужно так, как будто Он есть». Сам он так и жил, хотя считал себя неверующим, не исполнял никаких религиозных обрядов, не посещал ни церковь, ни синагогу. Впрочем, с годами его убеждения менялись — незадолго до конца жизни в одном из выступлений он процитировал слова Томаса Карлейля: «Пока не доказано обратное, мудрец должен верить в существование Бога и бессмертие души».

Свято исполняя собственный завет — «не подличать, не предаваться честолюбию», — Гердт часто испытывал недовольство собой: «Ложусь с этой мыслью и просыпаюсь с ней же: не состоялся. Если бы кто-нибудь знал мои страдания!» Действительно, среди десятков ролей Гердта в театре и кино не было ни одной главной. Но даже в самой маленькой роли Зиновий Ефимович говорил зрителям очень много, блестяще подтверждая тем самым афоризм Шиллера: «Для большого актера нет маленьких ролей». Но прежде всего он состоялся в главной роли — роли человека, светлую память о котором сохранили не только его друзья, но и миллионы тех, кто видел его только на сцене или на экране.

Глава первая «МНЕ ПОВЕЗЛО — Я ИЗ СЕБЕЖА!»

*В каждом человеческом сердце живет завет:
любить свою родную землю, невзирая на ее климат.*

Мидраш (сборник толкований к Библии)

Любая биография начинается с документов. К сожалению, сам Гердт не написал мемуаров, не вел дневник, не собирал скрупулезно свидетельства о своей жизни. Самое раннее из таких свидетельств — пожелтевший от времени листок автобиографии, написанной им 21 июня 1945 года, при поступлении в театр кукол Сергея Образцова:

«Я, Гердт З. А., родился в 1916 году в гор. Себеж, в семье служащего. Окончив в 1932 году среднюю школу, переехал в Москву, где поступил в школу Ф.З.У. Электрозавода. Окончив в 1934 году Ф.З.У., работал 1 год на строительстве Московского Метрополитена — электромонтажником. В 1932 году без отрыва от производства поступил в Театр рабочей молодежи (ТРАМ) ЦК Союза Электростанций, где, проработав три года, был переведен в профессиональный состав театра в качестве актера. В 1936 году поступил в состав труппы Кукольного Театра при московском Доме Пионеров, где работал актером до 1937 года. В 1938 году был вовлечен в организацию Московской Государственной Театральной Студии под руководством А. Арбузова и В. Плучека, где проработал до июня 1941 года, то есть до вступления в ряды РККА. В декабре 1941 года окончил Московское Военно-Инженерное Училище и был направлен на Калининский, а затем на Воронежский фронт. В феврале 1943 года в боях за город Харьков был тяжело ранен и в сентябре 1943 года был уволен из Армии со снятием с учета по ст. 49 гр. II–III. Вернувшись в Москву, поступил в Московский Театр Молодежи при Дирекции Фронтowych Театров, где работал до 25 июня 1945 года, то есть до дня ликвидации последнего. Инвалид Отечественной войны III группы».

Тогда же Гердт заполнил личный листок по учету кадров, из которого мы узнаем, что настоящие его имя и фамилия — Залман Эфроимович Храпинович и что по национальности он еврей. Гердт никогда не скрывал своей причастности к народу, его породившему. В беседе с автором этой книги он как-то процитировал Гейне: «Евреи несли Библию сквозь века как

свое переносное отечество». Не будучи верующим, он всегда с большим уважением относился к Священному Писанию. Уважительным было и его отношение к еврейской культуре, к родному для него языку — идишу или «мамэ лошн», то есть «маминой речи». При этом всю сознательную жизнь он считал родным русский язык, причислял себя к людям русской культуры, которую искренно любил и служил ей. И то, что в школьные годы он писал стихи на идише (и даже публиковал их в газетах Себежа), ничего не меняло.

Продолжим цитировать личный листок: «Беспартийный, родители “без сословия”, в 1943 г. вступил в кандидаты в члены ВКПб (заметим, что членом партии он так никогда и не стал. — М. Г.). Получил медаль за отвагу, в ВЛКСМ состоял с 1941 по 1943 год, в других организациях не состоял, кроме профсоюза Рабис с 1945 года (профсоюз работников искусств. — М. Г.)». В графе о знании иностранных языков и языков народов СССР Гердт сообщает, что на немецком и английском языках читает, а на еврейском (имеется в виду идиш) говорит. Из этого же листка мы узнаем, что незадолго до ухода в армию он женился на Марии Ивановне Новиковой, имеет сына Всеволода. И факт, весьма существенный для того сурового времени: «Репрессиям ни до, ни после революции не подвергался».

В скупых строках анкеты ничего не говорится о детских годах артиста, о его родном городе Себеже, расположенном на стыке границ России, Латвии и Белоруссии. Всего десять строк написано об этом местечке в «Еврейской энциклопедии» Брокгауза и Ефрона. Между тем Себеж достоин большего.

В течение многих веков Себежская земля была западным пограничьем Руси, что отразилось и на истории города, основанного еще в былинные древнерусские времена. О Себеже есть упоминание в былине «О двух сильных богатырях — Илье Муромце и о Соловье Разбойнике»: «Как будет он под Себежем, славным городом...» Существует древняя легенда о происхождении названия города: много столетий тому назад на берег большого и красивого озера пришел крестьянин со своими сыновьями. Понравились им эти места и решили они освоить новый край. Отвел крестьянин участки земли одному сыну и другому. «А где же ты будешь жить?» — спросили они у отца. «Себе ж возьму вон ту землю», — и крестьянин указал на полуостров, возвышавшийся на озере. Так появился на русской земле город, получивший название Себеж.

Этот районный центр в Псковской области, известный с 1414 года, в эпоху Речи Посполитой (с 1579 года) был местечком Полоцкого воеводства.

В состав Российской империи Себеж вошел в 1772 году, после первого раздела Польши. В это время в городке проживало немногим более двух тысяч человек, а к 1894 году его население выросло до 4344 человек, из которых 61 процент составляли евреи. Русский публицист-народник Николай Васильевич Шелгунов писал в «Очерках русской жизни»: «Евреи остались нам в наследство в виде законченного целого с присоединением западных губерний и Царства Польского. Такое же законченное целое мы приобрели с присоединением всех остальных наших разнообразных народностей: Малороссии, Польши, Остзейского края, Финляндии, Кавказа. Но дело в том, что все остальные народности поддавались легче изучению и были для нас понятнее, чем евреи. Кроме того, с присоединением других народностей к нам не переходили разные предвзятые на них воззрения и средневековые понятия, а с присоединением евреев их вошла целая масса. Ведь “Луч”, “Гражданин” (да кажется и “Новое время”) до сих пор верят, что евреи пьют на Пасхе христианскую кровь». Впрочем, в Себеже еврейское население уживалось с прочими горожанами достаточно мирно — во всяком случае, здесь не было ни погромов, ни административных притеснений, которые омрачали жизнь евреев во многих городах Российской империи.

До революции 1917 года Себеж входил в состав Витебской (Белорусской) губернии, а при советской власти передавался то Ленинградской, то Калининской, то Псковской области (ныне, как уже говорилось, он входит в состав последней). Местечко жило сонной провинциальной жизнью, промышленность и культура там, можно сказать, отсутствовали, большинство населения занималось мелким ремеслом или торговлей. Только в 1866 году в Себеже открылась еврейская школа для мальчиков, в которой учился и Зиновий Гердт.

Будущий артист родился 21 сентября 1916 года в семье Эфроима Яковлевича Храпиновича (сам актер писал имя отца как «Афроим») и Рахили Исааковны, в девичестве Секун. Он был четвертым ребенком в семье, младшим и, естественно, самым любимым. В память о ком-то из предков его называли Залман — среди евреев Восточной Европы была распространена эта форма имени Соломон, которое, в свою очередь, происходит от слова «шалом» — «мир», а по другой версии, от «шалем» — «совершенный», «цельный». Дом, где появился на свет будущий артист, не сохранился, но местные краеведы установили, что он стоял на главной себежской улице Петра Великого, позже переименованной в Пролетарскую — неподалеку, на Замковой улице, сохранился дом, где за 211 лет до рождения Залмана останавливался царь-реформатор, навестивший город в

годы Северной войны.

Эфроим Храпинович в юности работал приказчиком в лавке тканей, потом устроился коммивояжером в одну из крупных коммерческих фирм. После революции, с наступлением нэпа, выполнял те же обязанности как представитель райпотребсоюза. Гердт не раз вспоминал отца, когда играл Арье-Лейба в фильме «Биндюжник и Король» по рассказам Бабея: «Не подумайте, что отец мой был похож на Арье-Лейба, вовсе нет. Мой отец был человеком небогатым, но очень честным и уважаемым в Себеже, в синагогу по субботам ходил, да и вообще придерживался традиций. И хотя я не сохранил фамилию отца, память о нем живет во мне до сих пор».

Судя по всему, отец артиста был человеком широких взглядов — именно он настоял, чтобы его сыновья Борух (Борис) и Залман посещали не только хедер, но и занятия в русской школе. После отмены черты оседлости многие евреи покидали бедный и скудный мирок родного местечка и устремлялись в большой мир, где русский язык был необходим. В те годы русский начали преподавать и в хедере наряду с такими предметами, как арифметика и география. В реформированном себежском хедере изучали также историю Израиля и иврит — недавно возрожденный древнееврейский язык. Но, конечно, самым главным было толкование Торы и Талмуда. Учителя отмечали способности Гердта к запоминанию религиозных текстов и молитв, он был среди тех немногих, кому прочили должность раввина.

Среди жителей Себежа еще в XIX столетии получило распространение мистическое учение хасидизма, созданное Исраэлем бен Элизером из Меджибожа, известным больше как Баал Шем Тов, сокращенно Бешт. Он создал учение, которое религиозный экстаз поставило выше Талмуда. Хотя Эфроим Храпинович не был хасидом, он истово молился, чтит субботу и в этот день никогда не делал никакой работы — даже ботинки не зашнуровывал. После трапезы распевал любимые песни, дети и жена охотно подпевали ему. Часто он вспоминал своего отца, который был простым сапожником, но в Себеже его уважительно называли «ребе». В семье бережно хранились легенды и мудрые изречения, записанные и даже сочиненные Яковом Храпиновичем — позже все это, увы, пропало. Эфроим Яковлевич нередко повторял слова отца: «Самое страшное для человека — это самодовольство и самооправдание». Цитировал он и Менахема-Мендла, героя Шолом-Алейхема: «Человек! Не вводи себя в заблуждение. Не кради сам у себя».

К тому времени писатель Соломон Рабинович, взявший псевдоним Шолом-Алейхем — «мир вам!» — уже покинул Россию, но его по-

прежнему читали и почитали в большинстве просвещенных еврейских семей — а семья Гердта, без сомнения, принадлежала к таким. Мне вспоминаются слова, сказанные Зиновием Ефимовичем в одной из бесед: «В вашей книге на меня особое впечатление произвела глава, посвященная Тевье-молочнику. Не знаю, были ли такие Тевье у нас в Себеже, но слова Шолом-Алейхема, вложенные в уста этого героя, слышатся мне до сих пор: “Что такое еврей и нееврей? И зачем им чуждаться друг друга?” Тевье задавал себе этот вопрос и мучился им. Ему вторили и Тевье-Михоэлс, и, уже в наши дни, Тевье-Ульянов, так блистательно сыгравший эту роль в телефильме “Тевье-молочник”».

А вот что говорил мне о Гердте сам Михаил Ульянов: «Михоэлс я видел один-единственный раз в жизни, но если кто-то мне напоминает его (я думал об этом и когда играл роль Тевье), то это Зиновий Ефимович Гердт... Он был скоморохом, лицедеем высшего класса. Поэтому играл и Паниковского, и Мефистофеля, а между этими полюсами лежит такая пропасть, такой длинный путь».

Зиновий Гердт вспоминал: «Все мое детство состояло из сплошных запретов: нельзя, нельзя, нельзя... Папа был очень деспотичный, но, однако, у него бывали прорывы нежности ко мне: помню, я болел воспалением легких, совсем маленький. Он грел одеяло, у нас была голландская печь, а дело было зимой. И когда у меня был жар (мне было лет шесть), я видел, как он склонялся надо мной и, достав маленькие часики, играл со мной, а из глаз его лились слезы...»

Больше всего с детских лет Гердту запомнились рассказы отца на исторические и библейские темы. В их семье бережно хранились легенды, передаваемые из поколения в поколение — сказки о Големе, созданном из глины чудодейством великого раввина Лева, о пипернотере-оборотне и о демоне Диббуке, который вселяется в людей и заставляет их творить злые дела. Эфроим Яковлевич рассказывал детям и невеселые, совсем не похожие на сказки, истории из жизни — о судилище над евреем Бейлисом, ложно обвиненным в убийстве мальчика-христианина, о Кишиневском погроме... Позже, уже взрослым, Гердт читал «Сказание о погроме» Хаима Бялика:

...Но дальше. Видишь двор? В углу, за той клоакой,
Там двух убили, двух: жида с его собакой.
На ту же кучу их свалил один топор,
И вместе в их крови свинья купала рыло.
Размоет завтра дождь вопивший к Богу сор,

И сгинет эта кровь, всосет ее простор
Великой пустоты бесследно и уныло —
И будет снова все по-прежнему, как было...

Все описанное поэтом произошло в 1903 году в Кишиневе, но могло случиться в любой момент и в любом месте черты оседлости. Правда, в тихом Себеже это не ощущалось — город жил своей жизнью, из которой подрастающему Гердту так хотелось вырваться в большой, яркий мир. В конце концов он сделал это и много лет не возвращался в родные края. Но память о Себеже жила в его душе. Однажды — это было в 1950-е годы — он с театром Образцова отправился на гастроли в Таллин. Зиновий Ефимович вспоминал: «Был на колесах и вдруг загорелся идеей — вернуться в Москву через Псков, чтобы по дороге заехать в город детства. Когда у очередного поворота увидел знак — до Себежа столько-то километров, — прямо сердце зашло. “Зов родины” — затертое выражение, романтическое и пошловатое одновременно, но это был именно он. Я точно знаю, зов крови мне не доводилось испытывать, здесь у меня, видимо, что-то атрофировано, а вот зов родных мест ощутил в тот момент с необычайной силой».

По дороге Гердт вспомнил озера вокруг родного города. Вспомнил зиму в Себеже и катание на коньках, называемых «снегурками». «Зимой мы гоняли по льду...» Перед глазами вставала родная улица Петра Великого, протянувшаяся между озер Себеж и Ороно. «Обычно, находясь один в машине, я размышляю или читаю стихи, но тогда уже только вспоминал, воскрешал в памяти эпизоды давнего прошлого...»

Приехав в город, он узнал кое-какие здания — в годы войны Себеж пострадал не слишком сильно, — но люди были другими. Он не мог найти никого из тех, с кем был знаком в детстве. Почти случайно встретил пожилого парикмахера, одного из детских своих приятелей. Может быть, именно в тот момент к нему пришла мысль, которую он потом записал: «Прошлое не возвращается, даже как иллюзия, как мимолетный мираж».

Конечно, в Себеже его детства не было театра. Не приезжали сюда даже бродячие труппы, и мальчик не мог и подумать о том, чтобы стать артистом. В детстве самым привлекательным занятием ему казалась работа перевозчика на лодке. Вот как он вспоминает об этом: «В Себеже — озера, волны, в лодке дети сидят, и тебя переполняет чувство долга, ответственности. И отвага, и романтика, и должность очень человеческая. Мне казалось, вот это и есть самое настоящее, жизненное». Зяма говорил

родителям о своей мечте, а они отвечали: «Для этого надо очень стараться». Или: «Это не так просто, не каждого в перевозчики возьмут — надо хорошо есть, вести себя хорошо...» Как и многие детские мечты, эта прожила недолго. Гердт вспоминал: «Потом все определилось иначе — захотел стать слесарем, что и исполнил. Я и сейчас никакую железку не могу выбросить — инструментальный шкаф полон каких-то совершенно ненужных вещей».

Кое-что о своих детских годах Зиновий Ефимович поведал в беседе с кинорежиссером Эльдаром Рязановым.

«— Зялочка, скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Все ведь думают, что ты — прирожденный интеллигент, элитарная, так сказать, кость, голубая кровь, артист, друг многих известных кумиров нашего века. А никто ведь, по сути дела, и не знает, что ты просто-напросто фэзэушник. Пролетарий. Ты осуществил типичную американскую мечту. Или, если хочешь, советскую. Ты *selfmademan* — человек, который сам себя сделал. Из простых рабочих стал знаменитым артистом. Вот расскажи о семье, о родителях, о том, как все началось...

— Родители... Понимаешь, папа был удивительный человек. Ортодоксальный еврей. Ходил в синагогу и выполнял все обряды...

— А в каком городе это было?

— В Себеже. Это маленький городок на границе России и Латвии.

— А сейчас он где?

— В России. Через тринадцать километров Зилупе, уже Латвия, потом Резекне... В Себеже жило пять тысяч человек. Они разделялись примерно на три равные части и три конфессии. Был замечательный православный храм, на горке. Его потом взорвали. Не немцы.

— Кто бы это?

— Да, кто бы это? Была синагога, такая деревянная, обшарпанная, но синагога.

— А ее не взорвали?

— Нет. Фашисты сожгли. Они сожгли и все еврейское население, которое не успело убежать. Это я знаю.

— А третья религия?

— Третья — польская. Костел и польская община. Мы, мальчишки, знали все три языка. Можешь себе представить, я идиш знал! Мог написать письмо на идише. Даже стихи какие-то опубликовал в местной газете по поводу коллективизации. Мне было лет тринадцать. Стихи восторженные, конечно...

— Если мы вспомним произведения Шолом-Алейхема, который

описывал еврейские местечки, — это похоже?

— Нет, потому что у Шолом-Алейхема — мононациональные местечки. А тут было трехнациональное...»

В 1930-е годы многие евреи покинули Себеж — одни искали лучшей жизни в больших городах, другие спасались от «великого перелома», крушившего старые порядки и устои жизни. Закрыли (а потом взорвали) старинный Троицкий собор, закрыли синагогу и еврейскую школу, где учился Гердт. Начиная с пятого класса он продолжил учебу в новой советской школе-восьмилетке, стал пионером, потом комсомольцем. Именно тогда в нем пробудилась любовь к театру. «У нас в школе был директор господин Ган, — вспоминал он. — Я участвовал в школьных кружках. Единственную склонность, которую Ган во мне обнаружил, он записал в аттестате: “имеет склонность к драматической игре”. В меня это запало». Еще он вспоминал школьного учителя литературы, привившего ему любовь к поэзии: «Склонность к драматической игре, думаю, возникла от чтения стихов. У меня была тяга ко всему напечатанному в столбик».

Через две недели после начала войны Себеж был оккупирован немцами. Все еврейское население, не успевшее бежать, сразу же согнали в гетто, заставляя выполнять самую грязную и тяжелую работу — например, чинить взорванные партизанами железнодорожные пути. Многие умерли от голода и непосильного труда. В марте 1942 года большинство уцелевших, около ста человек, были расстреляны в окрестностях города — это злодеяние совершили не немцы, а местные полицаи. Многие из убитых были родственниками и знакомыми семьи Храпиновичей. После войны евреев в Себеже почти не осталось, но Гердт вместе с Татьяной Александровной еще не раз приезжал туда. «Жизнь прожил, а красоты такой больше нигде не встречал...» — задумчиво говорил он. Сегодня его фраза: «Себеж — небесное место на Земле» — стала чем-то вроде неофициального девиза города, жители которого искренне уважают своего знаменитого земляка. В ближайшее время здесь планируют установить памятник Гердту — уже второй. Первый установлен в 1998 году в Киеве, на Прорезной улице. Правда, он изображает не самого артиста, а его персонажа — Паниковского из знаменитого фильма М. Швейцера «Золотой теленок».

После первого визита в Себеж Гердт еще дважды возвращался в город своего детства. Последний раз, в 1987 году, он приезжал туда вместе с Булатом Окуджавой. «Я тогда был участковым, — рассказывает Александр Терехов, госохотинспектор по Себежскому району. — Гердт и Окуджава ехали в Ригу, зашли в райком. Говорят: “На обратном пути хотели бы тут на

пару деньков задержаться, отдохнуть...” Партия и поручила нам тогда организовать для них мероприятия. Мы решили, что лучшим отдыхом будет выезд на природу. Вон туда, на Силявские острова ездили. Мы стоим на набережной озера Себежского, в парке Гердта возле мемориального камня, и Александр машет куда-то в сторону серебристого горизонта. — Утром выехали, а вернулись за полночь. Незабываемый был пикник! Специально для именитых гостей изловили и закоптили жирного угря. Гердт радовался, как ребенок, и подтрунивал над Булатом: “Вот это угорь! Не то что ты мне недавно из Франции привез — мыло мылом!” Он очень много шутил в тот день. Простота его общения нас всех тогда покорила, — вспоминает Александр. — Очень душевный человек. Жаль только, на водных лыжах не захотел кататься. “Давайте, — говорю, — прокачу, Зиновий Ефимович!” А он смеется: “Сашка меня утопить хочет!” И все ему без дела не сиделось: и с рыбой, и с костром в удовольствие возился. А вот Булат как лег на полянке в траву, так и лежал до вечера — стихи про Себеж сочинял. Его жена часы потеряла, мы все ищем, ползаем по лугу вокруг него, а он — глаза в небо. Так с места и не сдвинулся...»

*

В беседе с Эльдаром Рязановым Гердт говорил и о своей семье:

«— Так вот, об отце. При том, что он был очень набожный, у него была какая-то природная русская грамотность и каллиграфический почерк. Ему бы писать на банкнотах. Знаешь: банковские билеты...

Но писали, увы, другие. Да. Писали другие. Больше никаких не было знаний. Он был мелкий служащий. То здесь, то там, какое-то было “Заготзерно”. Он ездил по деревням, заготавливал какие-то вещи. Был нэп. Он брал под-рады, брал у местных лавочников деньги и ездил в Москву за товаром для них. В одну из таких поездок он взял меня. И на Сухаревском рынке разрезали ему пиджак и выкрали всю сумму денег, которую ему давали. И он был в долгах. Никто не подвергал сомнению, что его обчистили, но долг ему не простили. И он всю жизнь был в долгах...»

Кое-что о своем детстве Гердт рассказывал близким друзьям и родным. Например племяннику Владимиру Скворцову, сыну сестры Евгении. Владимир Викторович, ныне известный математик, доктор наук, пишет: «Вспоминая о своих родителях, дядя Зяма впоследствии, кажется, никогда не называл их имен. Сейчас я, наверно, единственный, кто близко знал и хорошо помнит его маму, мою бабушку Рахиль Исааковну, урожденную

Секун. А его папе, местечковому торговому кооператору, довелось стать последним в роду, кто совершал свои конфессиональные ритуалы. Да еще как истово и строго! Звали деда Эфроим Яковлевич. Так что у нашего артиста все три составляющие имени не были подлинными... Мама рассказывала, да и я сам наблюдал, как крепкие выражения в семье ее родителей, употребляясь всуе, легко забывались. Моя бабушка в сердцах по какому-то поводу отреагировала на выходки сыночка Залмана: “Иди ты к чертовой матери!” В ответ Зяма, тогда еще мальчик, подошел к ней и стал ластиться: “Ты же меня чертом называла”...».

Рахиль Исааковна, мама Зиновия, была простой сельской женщиной, родившейся в местечке недалеко от Себежа. Она не получила никакого образования, но искренне любила русскую культуру, знала наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина. Многие из этих стихов Гердт запомнил на всю жизнь и читал позже на встречах со зрителями. Среди них было и стихотворение Аполлона Майкова «Мать»:

Бедный мальчик! Весь в огне,
Все ему неловко!
Ляг на плечико ко мне,
Прислонись головкой!
Я с тобою похожу...
Подремли, мой мальчик,
Хочешь, сказочку скажу:
Жил-был мальчик-с-пальчик...
Нет! не хочешь?.. Сказки — вздор!
Песня лучше будет...
За шумел сыр-темен бор,
Лис лисичку будит;
Во сыром-темном бору...
Задремал мой крошка!..
...Я малинки наберу
Полное лукошко...
Во сыром-темном бору...
Тише! Засыпает...
Словно птенчик, все в жару
Губки открывает...

Рахиль Исааковна не только читала детям стихи, но и пела романсы

под собственный аккомпанемент. Гердт вспоминал: «У нас был прямострунный рояль, очень дешевый, и мама умела подбирать ноты и пела. Я помню ее романсы. Они сейчас не исполняются, хотя имеют великую силу обаяния». Особенно хорошо он запомнил романс на стихи Михаила Кузмина:

Дитя, не тянися весною за розой.
Розу и летом сорвешь.
Ранней весною фиалки собирают,
Помня, что летом фиалок уж нет...

Часто вспоминал артист и услышанные от матери стихи Семена Надсона. Этот поэт, рано умерший от туберкулеза, знаменитый на рубеже XIX и XX веков, а позже почти забытый, был сыном мелкого чиновника-еврея, но вырос в православной семье матери. Он писал в своих заметках: «Когда во мне, ребенке, страдало оскорбленное чувство справедливости, и я, один, беззащитный, в чужой семье, горько и беспомощно плакал, мне говорили “опять начинается жидовская комедия”, с нечеловеческой жестокостью оскорбляя во мне память отца...» Детство Гердта было не таким, как у Надсона, но он тоже вырос на стыке двух народов, двух культур и наверняка глубоко чувствовал строки поэта:

Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнет
Мне чужд, как и твои ученья...

На одном из выступлений Гердт вспомнил другое стихотворение Надсона, добавив, что жалеет о том, что его нет в школьной программе:

Тяжелое детство мне пало на долю:
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тяжесть подачки людской...

Я рос одиноко... я рос позабытым,
Пугливым ребенком, — угрюмый, больной,

С умом, не по-детски печалью развитым,
И с чуткой, болезненно-чуткой душой...

Вряд ли Гердт, воспитанный любящими, хоть и строгими родителями, в детстве перенес такие же испытания, как Надсон. Но слова о «болезненно-чуткой душе» он имел полное право применять к себе. Вся последующая жизнь Зиновия Ефимовича доказала, что он — как и всякий подлинный артист — обладал именно такой душой.

Глава вторая В МОСКВЕ

*Тот, кто лишен искренних друзей, поистине
одинок.*

Фрэнсис Бэкон

В конце 1930-х Залман Храпинович официально, по документам превратился в Зиновия Гердта. К тому времени в жизни юноши произошли важные изменения — из захолустного Себежа он перебрался в бурно растущую советскую столицу. Это случилось в 1932 году, сразу после окончания семилетки и за год до смерти отца. Забегая вперед скажем, что Рахиль Исааковна надолго пережила мужа — она умерла 16 января 1949 года и была похоронена в Москве, куда переехала к детям. Гердт попал в столицу, когда ему было 16 лет. В те годы в Москву ехали многие жители бывшей черты оседлости, особенно молодые — те, кого давили скука и узость местечковой жизни, кому хотелось применить свои силы и способности на новом месте. За десять лет после революции еврейское население Москвы выросло с 10 до 130 тысяч человек. Среди этих пришельцев было немало представителей семейства Храпиновичей. Первой в столице обосновалась тетя Полина, младшая сестра матери. Полина (на идише ее имя звучало Перл — «жемчужина»), по воспоминаниям Владимира Скворцова, уехала в Москву в 1922 году: «Вот она-то и была той зацепочкой, которая перетащила в Москву в 1926 году Женю».

Сестра Гердта Евгения в Москве устроилась работать секретарем в строительный трест. В свободное от работы время она писала стихи и даже поэмы, заведя благодаря этому множество знакомых в литературной среде; среди них был знаменитый поэт Эдуард Багрицкий, с сыном которого Всеволодом Гердт позже сдружился. Вскоре она устроила и свою личную жизнь — к ней ушел из семьи «влюбленный до беспамятства» ответственный работник Виктор Скворцов. Жить Скворцовым в Москве было негде, и для решения квартирного вопроса они решили уехать в Астрахань, где в 1931 году родился их старший сын Владимир, а в 1940-м — младший, Эдуард. По рассказам Владимира Скворцова, «дом, в котором поселились Виктор и Женя (в Астрахани. — М. Г.), был святотатски выстроен на кладбищенских костях, в самом центре города. Любой

приезжий и сейчас найдет его. Подойдите к центральной городской колокольне, прислонитесь спиной и впереди, чуть справа, вы увидите на расстоянии 40 метров от себя трехэтажный кирпичный многокорпусной дом, на боковой стороне которого написано: “Окно квартиры № 2 — правое нижнее”».

Здесь заметим, что сестра Гердта Евгения Ефимовна по паспорту была русской. Еще в 1927 году она сделала в паспорте такую запись, а заодно сменила имя и фамилию, став из Берты Храпинович Евгенией Донской — «чтобы облегчить жизнь». Открещиваясь от младших братьев и сестры, она утверждала, что они сводные. Какое-то время они жили вместе в квартире в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке. Женя была настоящим домашним тираном и устраивала «ту еще жизнь» всем, кто не поступал так, как хотела она. В семье постоянно вспыхивали ссоры. Вскоре сестра Фира (Эсфирь) вышла замуж и уехала к мужу, а все остальные — Рахиль Исааковна, Зиновий и Борис — перебрались в убогий домик на окраине столицы, у нынешней станции метро «Тимирязевская». В 1986 году Гердт вспоминал: «Понимаете, папу я потерял рано, нас в семье осталось четверо. Я все время работал. Но все заботы легли на мамины плечи. Во время эвакуации она долгое время жила в Караганде. Последние три года очень тяжело болела, но никогда не жаловалась. Не хотела, чтобы из-за нее страдали другие. Она вообще была добрым и справедливым человеком. Помню, мой старший брат Борис уже женился, а мы все продолжали жить в одной комнатухе, разгородив ее шкафом и занавесками. Конфликты были неизбежны, мама гасила их, всегда беря сторону слабого».

Вскоре после приезда в Москву Гердт пошел учиться в фабрично-заводское училище (ФЗУ) на слесаря. Поступить в такое училище тогда считалось престижным — тем более в училище при Электрозаводе имени Куйбышева, который первым выполнил пятилетку за два с половиной года. Юный Зяма даже метрику подделал, чтобы его наверняка приняли. Он проучился два года, после чего с дипломом слесаря-электрика пришел на Метрострой. Копать и бурить не довелось, но электроподстанции он монтировал классно. Садился в трамвай перемазанным, специально не мылся после смены. Гордился — пролетарий, хозяин нового мира. И в театр-студию приходил таким — руки в мозолях и мазуте, под ногтями черно. Он ничуть не жалел о своем выборе. Это была романтика: вставать в шесть утра, спускаться в тоннель и работать восемь часов, а при авралах и дольше. Авралы случались нередко — московское метро было ударной

стройкой, для которой не жалели ни сил, ни средств.

В будущем Гердт нечасто общался со своими сестрами, да и с братом тоже. А вот с племянниками, Владимиром и Эдуардом, сохранил дружеские отношения до последних лет жизни. 1952–1953 годы оказались трудными для семейств Скворцовых и Храпиновичей: над ними, как над всеми евреями, нависло «дело врачей-убийц». Владимир Скворцов рассказал, что у тети Полины были две дочери, почти ровесницы Зиновия Ефимовича — Паша и Берта. В 1952 году Берта Левина была арестована по ложному доносу, как якобы готовившая покушение на товарища Сталина. Доносчик сообщил, что она собиралась стрелять в вождя во время торжественного заседания в Большом театре. На свободу она вышла только два года спустя. Сам Владимир в те годы выступал на студенческой конференции в МЭИ, где рассказывал о романе Митчелла Уилсона «Живи с молнией». Он беспощадно громил американскую демократию: оказывается, в Америке не только линчуют негров, но и выгоняют с работы ученых-евреев. А в это самое время безработица угрожала его дяде, старшему брату Зямы — Борису: он работал в Министерстве среднего машиностроения на руководящей должности.

Сегодня Владимир Скворцов — один из немногих, кто помнит семью Храпиновичей с довоенных времен. О самом Гердте он писал: «Знаменитого артиста многие еще хорошо помнят, а я, посетивший “сей мир в его минуты роковые”, еще жив... О дяде многое понаписано. Кажется, будто все всё знают. Неверно это... Я сейчас за давностью лет, пожалуй, могу, а может быть, даже должен поведать о многом из того, что никем не было зафиксировано». Вот один из пересказанных им эпизодов. В марте 1955 года после смерти Виктора Скворцова его вдова с сыновьями уехала в Казань. Перед посадкой в такси решили, что Владимиру лучше надеть отцово пальто — оно теплее. Только на вокзале обнаружилось, что билеты он оставил в карманах своего пальто. Как на него гневались родные! И только дядя Зяма превратил эту историю в комедию. Он стал изображать в красках, как, с какими ощущениями его племянник станет ощупывать каждый из карманов своего пальто. Все кончилось хорошо — кто-то из родственников успел сбегать домой и принести билеты до отхода поезда.

*

Итак, к середине 1930-х Гердт окончательно обосновался в Москве.

Одним из близких друзей его юности, да и всей жизни был Исай Кузнецов — писатель, ветеран войны, автор сценариев таких фильмов, как «Достояние республики», «Москва — Кассиопея», «Мой папа — капитан». Незадолго до кончины Кузнецова, летом 2010 года, я общался с ним. Встретились мы у него дома. Хотя Исаю Константиновичу было уже за девяносто, в тот день он был бодр, в хорошем настроении.

«Зяма был не только моим первым, но и самым близким другом, — рассказал он мне. — А в начале нашего знакомства — единственным. Незадолго до знакомства с Зямой я переехал с семьей из Ленинграда в Москву. Нам было тогда по 16–17 лет, это было во время учебы в ФЗУ при Электрозаводе. Я учился на слесаря-инструментальщика, он — на слесаря-лекальщика, специальность более тонкая. Впрочем, ни он, ни я вовсе не мечтали отдать этим профессиям всю свою жизнь. ФЗУ — это два года рабочего стажа, необходимые в те времена для поступления в какой бы то ни было институт. Однако все сложилось иначе: ни он, ни я в институт так и не поступили...»

Вскоре знакомство Гердта с Кузнецовым перешло в дружбу. Исай Константинович рассказывал, что они подружились на всю жизнь. Вместе с Гердтом в ноябре 1932 года пришли в ТРАМ — театр рабочей молодежи. При многих заводах тогда существовали драмкружки, но ТРАМ при Электрозаводе имени Куйбышева отличался от них — хотя бы тем, что им с 1934 года руководил Валентин Плучек, ученик самого Мейерхольда, будущий создатель знаменитого Театра сатиры. До него руководителем ТРАМа был Василий Юльевич Никуличев. Этот деятельный человек выбил для театра постоянное помещение в клубе «Мосэнерго» на Раушской набережной. Он поставил «Фантазию» Козьмы Пруткова, а позже «Свои люди — сочтемся» и «Бедность — не порок» Островского. В последнем спектакле Зиновий Гердт играл маленькую роль англичанина, но первую свою роль он исполнил в «Свадьбе Фигаро» Бомарше, которую поставил Плучек.

Исай Константинович вспоминал: «Потом сюда впервые пришел Валентин Николаевич Плучек, его Никуличев пригласил для совместного руководства. С его приходом наш коллектив стал меняться.

Плучек принес с собой то, чего не хватало Никуличеву — подлинную культуру театра. И, как обычно бывает в театре, коллектив раскололся по принципу приверженности тому или другому руководителю. Мы с Зямой предпочли Плучека». В мае 1938 года на базе ТРАМа была создана Государственная театральная московская студия, которой руководили драматург Алексей Арбузов и режиссер Валентин Плучек. Это событие

стало водоразделом в судьбе Гердта: если в ТРАМе он был рабочим пареньком, в свободное время играющим в театре, то в новой студии сделался профессиональным актером.

К этому времени он был уже решительно нацелен на театральную карьеру и овладевал необходимыми для этого знаниями и навыками. Он посещал московские театры, наблюдая за игрой знаменитых актеров — благо театров в столице тогда было не меньше, чем сейчас, а блестящих актеров, пожалуй, даже побольше. И конечно же запоем читал — записавшись в Публичную библиотеку, читал и драмы, и прозу, и поэзию, ту самую русскую поэзию, которая на всю жизнь стала для него поддержкой и опорой. По словам Кузнецова, «Зяма часто вспоминал своего школьного учителя литературы, привившего ему любовь к поэзии. Отчасти и эта любовь к стихам сблизжала нас. Мы часто бродили по городу и читали стихи. То он читает, я слушаю, шепча за ним знакомые строки, то читаю я, то оба вместе, в два голоса — Маяковского, Багрицкого, Блока, Пушкина и, конечно, Пастернака, открытого нами недавно и сразу ставшего любимым». Спустя много лет Гердт писал: «Вообще я в любую поездку, как правило, беру синий том Пастернака, уже изрядно потрепанный. Мне всегда интересно открывать в нем новые глубины. Это у меня извечная и неизбывная страсть — русская поэзия. С годами власть этой привычки становится все беспредельней, и думаешь иногда, а не старее ли со стороны человек, шепчущий какие-то строки (впрочем, это можно пережить). В моей памяти тысячи строк, и нет большего наслаждения, чем восстанавливать какую-то очень нужную для тебя именно сейчас. Эта работа идет постоянно. Всю жизнь, где бы я ни был...»

Продолжим цитировать Исаю Кузнецова: «Человеком, открывшим нам другие имена в поэзии — Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича, — был Валентин Николаевич Плучек. Началось еще в ТРАМе, продолжалось и в студии. Он читал стихи сам, приглашал известных чтецов, побуждал нас ходить на концерты Яхонтова. В физкультурном зале школы, напротив консерватории, мы слушали нигде не напечатанные стихи Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича. Помню тогдашний “самиздат” — потрепанные рукописи цветаевского “Казановы”, стихов Ходасевича и Мандельштама...

Зяма и сам писал стихи. У меня сохранилось несколько его стихотворений, присланных мне в конце войны на фронт.

Среди этих стихов есть несколько строк, особенно мне дорогих. В полушуточном стихотворении он пишет о своих друзьях:

У меня их трое верных,
Трое храбрых, беспримерных,
Трое! Кто из них верней?
Кто вернее в дружбе, в чести,
Кто стоит на первом месте:
Русский, грек или еврей?
Про кого сказать: “Во-первых”?
У того покрепче нервы,
У другого сердце шире.
Третий мудростью возьмет.
Я скажу: “Во-первых — трое”, —
Это будет верный ход!

Грек — это Максим Селескириди (Греков), воевавший в тылу врага, русский — Женя Долгополов, любимец студии, человек действительно с широким, добрым сердцем, — увы, с войны так и не вернувшийся...

Что касается третьего, то слова о его мудрости, конечно, лишь дружеское преувеличение и прежде всего свидетельство верности дружбе самого автора. Но своих стихов он не читал. Он слишком хорошо знал, что такое подлинная поэзия. Читал тех, кого любил... Не случайно возникла дружба студии с молодыми поэтами Борисом Слуцким, Давидом Самойловым, Женей Аграновичем, Николаем Майоровым, Борисом Смоленским, приведенными к нам Мишей Львовским».

Поэт и сценарист Михаил Григорьевич Львовский был близок к Гердту и Кузнецову. К тому же они с Гердтом оказались соседями, что в немалой степени способствовало их дружбе. Львовский вспоминал: «Мы с Зиновием Ефимовичем были соседями, жили в деревянном двухэтажном доме (2-й Астра-дамский проезд, чуть дальше трамвайная остановка с романтическим названием “Соломенная сторожка”). Во двореике нашего дома зимой лихо рубили дрова, а в летние дни на керогазах варили варенье в медных тазах, а подчас без всякого стеснения мыли головы, поливая друг другу из кувшина. На крыльцо выходили чистить ботинки. Весной 39-го часто наблюдал, как очень молодой человек через час после возвращения с работы выходил на крыльцо, красиво одетый, будто на праздник, и тщательно наводил глянец на модные черные ботинки». Сперва Гердт не понравился Львовскому, показался пижоном, человеком легкомысленным, но первый же разговор показал, что у них много общего. Скоро Зяма привел Михаила в студию, и теперь они вместе шли туда каждый день

после работы и нередко возвращались ночью. Когда трамваи прекращали движение в сторону Второго Астрадамского, Гердт и Львовский возвращались домой пешком (об этом вспоминал и Исай Кузнецов).

А вот что пишет об этом времени Софья Абрамовна Милькина, участница студии со дня ее основания, жена режиссера Михаила Швейцера: «Когда наш Зяма был еще худеньким юношей и уже очень талантливым, интересным человеком искусства, мы с ним работали и учились в Московском театре-студии под руководством Валентина Плучека и Алексея Арбузова». Милькина обучала Зиновия Ефимовича игре на скрипке. Михаил Швейцер позже вспоминал: «У меня на стене висит Сониная скрипка, на которой она играла еще в спектакле “Город на заре”... Поскольку Зяма играть на скрипке не умел, то на сцене он просто водил смычком, а за кулисами играла Соня...»

Дружба Гердта со Швейцерами продолжалась до последних дней жизни Зиновия Ефимовича. У Михаила Абрамовича сохранилось немало стихов, переписанных Зямой и подаренных им с Соней. По мнению Татьяны Александровны Правдиной, Михаил и Софья Швейцеры были ближайшими друзьями Гердта. Она пишет в предисловии к воспоминаниям Швейцеров о Гердте: «Однажды Зяма спросил меня: “Ну, есть муж лучше меня?” — “Конечно, — ответила я, — Миша Швейцер”. То, что я сказала это не задумываясь, заставило Зяму тут же согласиться: “Ты права, это так”. Миша — человек редкой эрудиции и даже философской глубины — сохранил до конца дней детскость, непосредственность, умение чувствовать настоящее».

Еще один фрагмент воспоминаний Швейцера о Гердте: «Я помню, как мы сидели у нас в большой комнате, пировали... Болтали, шутили, смеялись, читали стихи... Я думаю: все что-то читают, и я что-нибудь прочту... Прочел и сказал: “Александр Блок”. Что тут сделалось с Зямой!.. Сначала он затрепетал, как будто его родного дедушку или бабушку обозвали матерным словом, а потом разразился криком: “Как Блок?! Это Пастернак!..” А я-то слегка выпимши... Начал на свою дурную голову с ним спорить: “Нет, это Блок!..” И тут же почувствовал, что неправ, а Зяма уже завелся всерьез: “Ноги моей больше не будет в этом доме!.. Пусть здесь путают Блока с Пастернаком!..” Конечно, он был прав. Через полторы минуты, за которые я успел залезть на книжную полку и проверить свою ошибку, я уже проклинал себя: “Осел! Кретин!.. Как же это я так?!”

Зяма меня великодушно простил».

И еще из воспоминаний Михаила Львовского: «Я вижу Зиновия Гердта в кругу его друзей: Александра Володина, Виктора Некрасова, Булата

Окуджавы, Давида Самойлова, Петра Тодоровского. В них есть что-то общее. Прежде всего, они солдаты Великой Отечественной. И, кроме того, люди, сказавшие о своем времени главное и незабываемое».

Однажды я от Гердта услышал такие слова: «Дружба, семья и публика — вот три кита, на которых я стою и буду стоять долго». Они были настолько искренни и правдивы, что могли бы стать эпитафией ко всей биографии Гердта.

Пройдут годы, и Давид Самойлов, вспоминая эти времена, напишет стихотворение:

Перебирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом...

Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая...

А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая...
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.

Михаил Львовский учился в ту пору в Литинституте и, конечно, он был ближе, чем Гердт, к московской поэтической богеме, в особенности к семинару Ильи Карловича Сельвинского, у которого учились Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Борис Слуцкий, Николай Майоров, Евгений Агранович. Нередко во время семинара они распевали звукоподражательные строки «Улялаевщины» Сельвинского:

Ехали казаки, да ехали казаки.
Да ехали каза-ха-ки, чубы по губам...

Это он, Михаил Львовский, привел на занятия в студию Плучека — Арбузова поэтов из Литинститута, это с его легкой руки студийцы запели

сочиненную Павлом Коганом «Бригантину». Но больше всего они полюбили стихотворение того же Когана «Гроза», написанное еще в 1936 году:

Косым, стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза...

Один из студийцев написал: «Увлеченный работой в студии, влюбленный в студийность, в содружество единомышленников, он [Гердт] работал с упоением. В спектакле “Город на заре”, как и большинство его участников, он сам сочинил для себя роль. Его героя звали Веня Альтман... После репетиций спектакля я отказался от участия в нем и передал свою роль Саше Галичу. Я понял, что сыграть Вениамина так, как играл Гердт Альтмана, я не сумею. К тому же Альтмана Зиновий Ефимович писал для себя. Я такие роли не создавал».

Со спектаклем «Город на заре» связано еще одно важное для Гердта событие — появление его знаменитого псевдонима. По воспоминаниям Исаия Кузнецова, это произошло на квартире одной из участниц студии Милы Нимвицкой, где «арбузовцы» часто встречались, обсуждая творческие планы: «Именно здесь произошло превращение Зямы в Зиновия Гердта. Случилось это незадолго до показа двух актов представителям тех ведомств, от которых зависела дальнейшая судьба нашей студии. И тут кому-то пришла мысль, поначалу шутовская, что Зямина фамилия звучит несерьезно и недостаточно благозвучно. Не потому что еврейская — никому не пришло в голову считать неподходящей фамилию Саши Гинзбурга. Решили, против чего не возражал и Зяма, придумать ему псевдоним.

Посыпались предложения, самые неожиданные, подчас не лишённые насмешливого подтекста. Они отвергались одно за другим. Кто-то предложил фамилию известной балерины Елизаветы Герд.

Предложение было встречено одобрительно, в том числе и Зямой.

— Только обязательно — Герд-т! С буквой «т» на конце, — категорически заявил Арбузов.

— Герды-ты — это звучит гордо-то, — сострил кто-то. Так Зяма, Залман, как мы часто его называли, стал Зиновием Гердтом».

Это событие было отмечено в шуточной поэме, которая, как и пьеса,

сочинялась коллективно — Арбузовым, Плучеком, Кузнецовым и самим Зямой:

...Это Зяма Храпинович,
Что от имени отрекся,
Ради клички сладкозвучной.
И как только он отрекся,
«Гердт» — прокаркал черный ворон,
«Гердт» — шепнули ветви дуба,
«Гердт» — заплакали шакалы,
«Гердт» — захохотало эхо.
И, услышав это имя,
Он разжег костер до неба
И вскричал: «Хвала природе!
Я приемлю эту кличку!..»

«Город на заре» стал первым и единственным спектаклем, созданным студией. Он объединил вокруг себя молодых, ярких, талантливых людей, осветив их жизнь — у кого-то долгую и славную, у кого-то, увы, совсем короткую — вечным светом Искусства.

Глава третья ТЕАТР НА ЗАРЕ

Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.

Н. В. Гоголь

О студии Плучека — Арбузова осталось немало интересных воспоминаний. Что-то в ее замысле шло от самого Станиславского: он еще в начале XX века мечтал, чтобы актеры театра были и его авторами. В Государственной театральной студии этот замысел классика воплотили молодые, но совершенно непохожие друг на друга режиссеры. Заметим, что идея студии вызвала одобрение и сочувствие многих писателей, артистов, прессы. Создатели студии понимали, что им предстоит трудное существование: без материальной поддержки, без помещения, без драматургического материала. Да и Комитет по делам искусств не торопился признать студию, юридически закрепить ее существование.

Стоит подробнее рассказать о некоторых участниках студии. Начнем с Марии Новиковой, которая пришла в студию одной из первых. Ее сразу же прозвали «девушка-огонь». Поводов тому было немало, но прежде всего необыкновенный ее артистизм и яркая внешность. Неудивительно, что ею увлеклась вся мужская половина студии. «Я помню влюбленные глаза Саши Гинзбурга», — рассказывал мне Исай Константинович Кузнецов. Но среди поклонников Марии на первом месте, пожалуй, был Гердт — по слухам, ради него она отвергла предложение самого Валентина Плучека. Чтобы не осложнять отношения с режиссером, влюбленные скрывали свои чувства. Для студийцев оказалось большим сюрпризом, когда в марте 1941 года Маша и Зяма принесли на репетицию несколько бутылок вина и торжественно объявили, что теперь они муж и жена.

Вот рассказ Всеволода Зиновьевича Новикова, сына Гердта: «Семья папы к маме относилась плохо: ее не приняли, хотя Фира была замужем за русским и брат папы Борис был женат на русской, на Нине. Прекрасно относилась к маме только Рахиль Исааковна, ее свекровь... Мама окончила среднюю школу в Москве. У нее была интересная судьба, которая могла реализоваться только после революции. Она жила в деревне в многодетной семье в Тульской области, Липецкий район, деревня Дурново. Это была

бедная крестьянская семья, мама осталась сиротой в три года. Ее взял на воспитание дядя, у него она прожила до восьми лет. Шел 1925 год, в стране нэп. В деревне есть было нечего, а в Москве были ее братья и сестры, устраивался, кто как мог. Из столицы приехал брат и забрал ее в Москву. С тех пор она жила у брата и ходила в школу на Ленинградском шоссе, закончила семь классов. То есть у нее образование такое же, как у отца. Таков путь девушки из деревни Дурново в Москву, потом — в театральный кружок и в арбузовскую студию. Такова порой актерская судьба».

Среди первых участников ТРАМа был и Александр Галич, тогда еще Саша Гинзбург. Из воспоминаний Исаия Кузнецова: «Сблизила нас с Галичем именно склонность к юмору, к шутке, а если конкретней — сочинение песен и номеров к капустникам. На квартире Севы Багрицкого собирались для сочинения песенок, которые становились студийным фольклором, З. Гердт, М. Львовский, Галич, я и, конечно, сам хозяин — Сева. Песни песнями, но эти сборища, наполненные взрывами смеха, шутками, насмешками, поисками ритмов и рифм, радость от удачных находок, бряцание Галича на гитаре, подбирающего — даже придумывающего мелодию для будущей песни... Черт побери, до чего это было прекрасно!

Галич писал стихи с детства и, как вспоминает он в своей книге, был даже удостоен благосклонного отзыва самого Эдуарда Багрицкого. Стихов его я не помню, да и не держали мы его почему-то тогда за настоящего поэта. Поэтом у нас был Львовский, отчасти Багрицкий. Поэтами были Самойлов, Слуцкий, Коган, Кульчицкий, Майоров — частые гости, друзья нашей студии. А стихи писали все...»

Здесь кажется уместным напомнить, что Александр Галич начинал не как поэт, не как литератор, а именно как актер. Первые его песни были предназначены для пьес, которые готовил ТРАМ, и их исполняли актеры студии, в том числе Мария Новикова. Песни эти стали неотъемлемой частью не только репертуара ТРАМа, но и повседневной его жизни. Разумеется, они были еще незрелыми, подражательными, юношески-романтичными, однако пользовались немалым успехом.

Исай Константинович вспоминал: «Сорок первый год... Мы встречали его в Немчиновке, на даче нашего студийца Адриана Фрейдлина. В тот вечер мы пели песенку, сочиненную специально для этого дня:

Все, о чем не смел мечтать,
Все, что не успел сыграть,

Сбудется, наверно,
В новом сорок первом!
Старый не придет опять.

Такой был припев песенки, сочиненной компанией, куда входили все те же — Гердт, Львовский, Багрицкий, Галич и я...

Когда меня представили Саше (Гинзбургу. — М. Г.), я вспомнил, что видел того на сцене театра-студии Арбузова в спектакле “Город на заре”.

Эта пьеса, написанная коллективом юных студийцев (в том числе и Сашей) под руководством Арбузова, спустя многие годы таинственным образом оказалась единоличным произведением мэтра. Саша хорошо играл плохого (троцкиствующего) секретаря комсомольской организации великой стройки. По нынешним временам, пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она звучала волнующей правдой. А сама студия была тем, чем для другого поколения оказался молодой театр “Современник”. В спектакле звучали человеческие ноты, в непременно, как бы основополагающую ложь было упаковано немало истинной жизни и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, наверное, самая неблагоприятная роль, но он с честью вышел из положения. В короткие минуты первой встречи разговор зашел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, ушедшем на фронт, он меня — о Севе Багрицком, бывшем студийце и поэте, погибшем на Волхове почти на моих глазах...»

Заметим, что многие студийцы познакомились совсем недавно. Среди них были и ученики Плучека (Зиновий Гердт, Исай Кузнецов, Людмила Нимвицкая), и участники художественной самодеятельности из клуба «Каучук». Драматург Александр Константинович Гладков привел в студию в ту пору еще учеников школы — Максима Селескериди и Севу Багрицкого. Несмотря на эту пестроту, новоявленные актеры составили очень сплоченную и интересную компанию. Даже Александр Галич, пришедший в театр из «элитной» студии Станиславского, очень органически туда вписался. «Признаться, он нам не очень понравился, — вспоминает Кузнецов, — может быть потому, что он держался — думаю, от смущения — подчеркнуто независимо и гордо. А, скорее всего, нам это просто показалось в силу нашего особого отношения к студии Станиславского».

Некоторая натянутость в отношениях, возникшая из-за «зазнайства» Галича, скоро исчезла, и он стал своим. Студийцам запомнились некоторые его песни. Например, такая:

Серый камень, серый камень,
Серый камень в пять пудов,
Серый камень так не тянет,
Как проклятая любовь.

Была еще рискованная песенка: «Край мой, край ты соловецкий, для шпаны и для каэров лучший край...» В каком-то смысле эти песни-стилизации предвосхищали будущие произведения Галича, в которых он с истинно актерским талантом перевоплощался то в узника сталинских лагерей, то в ветерана войны, то в партийного функционера. Конечно, для спектакля «Город на заре», проникнутого комсомольским пафосом, Галич писал другие песни. Ему принадлежит и самая запоминающаяся — «Прилетели птицы с юга, на Амур пришла весна». Принадлежит именно ему, хотя в тексте пьесы, напечатанном в сочинениях Арбузова, она приписана Всеволоду Багрицкому. На самом деле Багрицкий написал песню из первого действия — «У березки мы прощались».

Очень весело, задорно жили студийцы в ту пору. Исай Кузнецов вспоминает: «Помню Галича, несущего пальму, обхватив обеими руками пузатую кадку, и вручавшего ее кому-нибудь из наших девушек...» Молодые актеры не знали, что их руководитель, известный советский драматург Алексей Арбузов, относится к Галичу и его песням далеко не одобрительно. Много лет спустя, в декабре 1971 года, Галич был исключен из Союза писателей СССР за «антисоветскую деятельность», и главным его обвинителем стал именно Арбузов. По мнению Кузнецова, «история особых отношений Арбузова и Галича восходит ко времени фронтового театра. Не знаю, как сложилась ситуация, в которой между Плучеком и всем коллективом фронтового театра-студии во главе с Арбузовым возник некий конфликт, в результате которого в соответствии со студийной этикой было решено расстаться с Плучеком, о чем ему было сообщено в письме, подписанном всем коллективом. Галич сделал на нем приписку, что с решением не согласен. Мне Галич говорил впоследствии: “Это была чистейшая чепуха — театр без Плучека. Арбузов все-таки не режиссер!”

Второй момент во взаимоотношениях Галича с Арбузовым связан с вопросом об авторстве “Города на заре”. Когда заново отредактированный вариант пьесы был поставлен в театре им. Вахтангова за подписью одного Арбузова, Галич написал ему резкое письмо, в котором, осуждая его, напомнил о тех студийцах-авторах, что не вернулись с войны. Вопрос об авторстве “Города на заре” — проблема не простая. Она требует

подробного и обстоятельного разговора. Скажу только, что в предисловии к пьесе Арбузов оговаривается, что пьеса эта не является делом рук одного человека, и перечисляет имена всех причастных к ее созданию. Играли эти мотивы какую-то роль в поведении на секретариате? Не могу утверждать с уверенностью. И все же...».

Коллективное творчество молодых поэтов оказалось весьма успешным — работать вместе было и интересно, и результативно. Образовавшийся квартет, в который входили Всеволод Багрицкий, Александр Галич, Исай Кузнецов и Зиновий Гердт, придумал немало интересного, смешного. Багрицкий обладал поразительно тонким чувством языка, Галич обожал неожиданные детали и острые реплики, Гердту свойственно было особое чувство мягкой иронии, а Кузнецову — философские мотивы. Словом, с каждым днем текст будущей пьесы пополнялся. Как заметил Кузнецов, пьеса о провинциальном городке, о его людях становилась не только полнее, но и интереснее. В итоге весной 1940 года она была принята к постановке.

*

Константин Паустовский, участвовавший в работе будущего театра, в статье «Рождение театра» писал: «Новое должно выявиться в очень простых вещах. В глубокой органической преданности современному искусству, в том, что театр должен быть мыслителем и художником, а не ремесленником-профессионалом. В том, что актер при работе над сценическим образом должен пройти тот же трудный путь его создания, который проходит писатель и драматург. Мысль о новом театре родилась в той неудовлетворенности “старыми” театрами, что всегда двигала его вперед и обогащала искусство... Лучше всего молодежь знала время второй пятилетки... Так возникла тема коллективной пьесы о строительстве Комсомольска... Текст выработывался из импровизированных его кусков на репетициях и был затем приведен к единому стилю драматургом Арбузовым».

Будем помнить, что спектакль возник как студийный: на маленькой неудобной клубной сцене с очень примитивным интерьером и декорациями. Но творческая одержимость молодых актеров в сочетании с талантом Арбузова, Плучека и Гладкова сделала свое. «Молодой режиссер Плучек, — писал Павел Антокольский, — поставил спектакль смело, даже с задором, со свежей изобретательностью...»

На афише сообщалось, что авторы пьесы и спектакля — коллектив студии. Первым среди студийцев по алфавиту шла фамилия Гердта, за ним — Александра Гинзбурга. До студийцев были названы их руководители — Плучек и Арбузов. Из воспоминаний Исаия Кузнецова: «Начиналось все с заявок исполнителей на задуманные ими роли. Затем литературная бригада сочиняла сценарий будущей пьесы. И уже на основе этого сценария студийцы во множестве этюдов импровизировали текст будущей пьесы... Мысль о создании спектакля путем импровизации принадлежит А. М. Горькому. Он резюмировал ее в известном письме К. С. Станиславскому. Подхваченная Арбузовым и Плучеком, она стала основой, на которой строилась наша студия: актер был не только исполнителем, но и автором своей роли».

А вот рассказ Кузнецова о том, как создавался спектакль: «От нечего делать стали сочинять этюды, так сказать, впрок. Придумалась пристань в маленьком городке на Волге, где большие пароходы не останавливаются. Двое молодых парней, скучающих у пустынного причала, с тоской и завистью поглядывающие на проходящий мимо пароход, на девушку, стоящую у перил... Исписав две-три странички, мы поняли, что никакой это не этюд, а начало пьесы. И отправились к Галичу с предложением писать эту пьесу втроем. Вдвоем почему-то не решались. Привычка: этюды, как правило, сочинялись втроем, а то и вчетвером. Почему к Галичу? Не к Львовскому, не к Гердту? Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Однако, что пошли именно к нему, говорит о том, что он стал не только своим человеком, но именно тем, с кем хотелось, было приятно, интересно работать вместе.

Саша немедленно согласился, и тут же, не откладывая в долгий ящик, мы приступили к делу. Фантазировали, открывая все новые и новые возможности предложенной ситуации. Возникал провинциальный городок, ожидающий приезда своего земляка, летчика, героя, с только что закончившейся финской войны; заброшенный, ждущий возрождения яблоневый сад; появился старый интеллигент Свешников, странный человек Анастасий, девушка, влюбленная в героя...»

А вот что говорит о создании спектакля Валентин Плучек:

«Три года во все свободное время, без отдыха, почти без сна мы как одержимые занимались в студии без зарплаты, иногда голодные, но никогда не жалующиеся. И, как будто не зная усталости, мы все сообща писали — или, точнее, импровизировали, репетируя и играя эпизод за эпизодом, сцену за сценой, то, что потом стало пьесой “Город на заре”. Сегодня молодые артисты спрашивают: “А что это за студия была, которую

организовали Плучек и Арбузов перед самой войной?” Они, сказать по правде, не только этого не знают, но и вообще с историей своей знакомы подчас лишь приблизительно. В студии занимались: Зиновий Гердт, Александр Галич, Максим Греков, Всеволод Багрицкий, Михаил Львовский, Авенир Зак, Исай Кузнецов и многие еще, составившие первые кадры послевоенного искусства.

Студия стала как бы материализовавшейся мечтой театралов — не поклонниц, бегающих за премьерами и примадоннами, а настоящих ревнителей театра неказенного, неофициального толка. Тогда было очень смутное, куда более смутное, чем теперь, время, и потому, наверное, душа искала отдыха, распрямления, что ли, освобождения от казенных пьес и бесконечных приказов Армии искусств. Почему-то именно студии, где собирались бы запросто, даже без подмостков, просто в комнате, и мерещились искателям душевной жизни. Студия помогала жить, не падать духом, вырабатывать свой стиль в режиссуре. “Город на заре” был отмечен именно своим стилем».

*

«Для меня то было драгоценное, неоценимое время, когда я был буквально обожжен гением Мейерхольда — великого мастера и ощущал на себе его могучее влияние. Десять лет духовного, почти ежедневного щедрого обогащения наших юных голов и сердец — это неоценимый дар, которого хватило на всю жизнь прожитую, да, впрочем, его и нельзя исчерпать», — говорил Валентин Плучек. В июне 1939 года Всеволод Мейерхольд был арестован. Его расстреляли в феврале следующего года, когда студийцы Плучека заканчивали работу над «Городом на заре».

На одном из творческих вечеров, в 1994 году, Зиновий Ефимович рассказал о Мейерхольде: «Я не могу себе представить, что я с 1934 года по 1939 год, роковой год, чуть ли не жил в их доме, у Мейерхольда. В этом вот здании, где был театр Мейерхольда. А Мейерхольды жили в Брюсовском переулке, чуть выше театра».

Гердт в ту пору жил у Тимирязевской академии на улице с поэтическим названием Соломенная Сторожка. Это было так далеко от театра Мейерхольда, что Зиновий предупреждал: «Если меня в 10 вечера нет, то я ночую у Мейерхольда».

И так бывало очень часто.

Однажды апрельским утром Гердт, как обычно, поехал к Мейерхольду.

Он был в шубе с меховым воротником, и когда через час приехал на Страстной, на Пушкинскую площадь, на улице было + 16 или +18. Вот такое было дружное тепло. И с ходу он стал играть колхозника, который первый раз в жизни очутился на Тверской. Гердту запомнилось, что Тверская тогда была узенькая, очень уютная: «Боже мой! Кто помнит Москву того времени, это был очаровательный город. Сейчас многие места восстанавливают. Очень красиво...

Иду по Столешникову переулку, вдруг вижу вывеску, для меня много значащую в тот момент: “Скупка вещей у населения”. Думаю, вот сюда-то мне и надо. И вот с большого солнца я вхожу в такую длинную “кишку”. Иду к лампочке. Подхожу туда, и нет этого человека у прилавка, который должен избавить меня от шубы. Но, привыкший уже к этому свету, я вдруг вижу в трех шагах от меня неправдоподобной красоты взрослую даму. Мне семнадцать, ей — не знаю, двадцать шесть-двадцать семь, большая, совсем большая. Но такой красоты... я в жизни ничего подобного не видел, прекрасная! При смоляных волосах светлые глаза — ну невозможно! Она, видимо, понимала, какой эффект производит, и, чтобы сбить пафос с моего изумления, нарочно так грубовато:

— Черт его знает, куда он девался! Торчу тут уже минут десять! А вы что продаете?

— Шубу.

— С себя?

— Да.

— А маму вы спросили? Я вам этого не позволяю! — сказала она таким тоном, словно выговаривает мальчику, который курит. — Я сегодня стою тут с половины девятого до половины одиннадцатого — окоченела.

— Зачем вы в такую рань два часа на морозе?

— Очень просто: я стояла в очереди в кассу в театр Мейерхольда, в надежде купить билет на сегодняшний четырехсотый спектакль “Лес”, но билетов мне не досталось.

Пока она говорила эту тираду, я как-то “отпустился” и стал нагло, развязно в опереточной манере врать:

— О, мадам, для меня это пустяки!

(Продавалось всего полтора ста билетов, остальные они распространяли в качестве приглашений среди художественной знати Москвы, тогда не было слова “элита”. А я тоже художественная знать!)

В общем, что говорить, я не помню, что я плел, но я ей назначаю свидание за полчаса до начала спектакля. Совершенно просто. Я пересек Тверскую улицу, вошел в дом, где жил Мейерхольд, на второй этаж. Звоню,

дверь открывает Мейерхольд. И тут бог меня надоумил, я рассказываю в подробностях всю эту сценку с этой дамой красивой, и он понимает меня: “Очень интересно. Заходите”. Я захожу к нему в кабинет. Он берет блокнот, синий гриф печатный типографский:

“Директор Государственного драматического театра имени народного артиста Вс. Мейерхольда народный артист Вс. Мейерхольд товарищу Локтеву (администратор).

Выдайте, пожалуйста, два места поближе к сцене на сегодняшний спектакль ‘Лес’ предъявителю этой записки.

Дата.

Вс. Мейерхольд”.

Я захожу в администраторскую театра. Там столпотворение, администратор зарылся в этих приглашениях, телефонных звонках. Живой граф Толстой стоит, Юрий Олеша... и я стою. Он орет мне, отдает в 30 ряду 30—31-е место. Ну, самое позорное, после всех моих “Ах-ах, мадам”. Я: “Тут написано: Поближе к сцене!” Он опять орет: “Приходи без четверти семь, если что-нибудь останется, отдам”.

Я никуда не ушел. Я помню даже конверт, имя того, чьи билеты он мне продал: это был поэт, очень популярный. Алтаузен, 7-й ряд, 13-14-е место. Приходит моя дама. На нее все оборачиваются. Я принимаю какую-то шубку, она остается в чем-то бархатном, темном, декольте, мне 17.

Я снимаю свою шубу и остаюсь в курточке, перелицованной из пиджака моего старшего брата. Кто не носил ничего перелицованного — очень многое потеряли. В общем, мы все ходили в перелицованном и все плевали на это, но рядом с этой державной красотой я был нелеп и не смотрелся. Я совершенно не смотрелся, старался даже быть в стороне, как будто мы из разных профсоюзов.

Входим в фойе театра, это длинный тамбур. С одной стороны — вход к Мейерхольду, а с другой — за кулисы. Вдоль этого фойе стоял длинный стол-буфет с накрахмаленной скатертью, яствами, бутербродами, конфетами, сладостями, чай и все такое, и у каждого предмета были флажки с ценой. Вдоль каждого стола стояли вазы с надписью: “Деньги, пожалуйста, кладите сюда”. Никаких официантов, буфетчиков не было. Это было придумано Мейерхольдом, и было очень интересно, но держалось два сезона, потом это дело прикрыли, так как сие было невыносимо. Каждый вечер оставалось слишком много лишних денег: оказывается, люди стеснялись брать сдачу. Смешное было общество в Москве в мое время!

Вдруг такой шепоток: “Мейерхольд, Мейерхольд, Мейерхольд!” Оттуда из того угла, из своего кабинета, за кулисы продирается сквозь

толпу Мейерхольд. Вышел, нет, он выстрелил, как торпеда: серый клочок волос, серые глаза, серый бант. Он прошел, и вдруг увидел меня: “Боже мой, вы пришли!!! Никаким образом не ожидал вас увидеть!”

Вы знаете, что такое стоп-кадр? Имел место. Вот, кто с яблоком, кто с чем — все замерли. “Знаете, пять дней назад с нарочным послал вам приглашение без всякой, естественно, надежды, что вы сможете им воспользоваться! Мне в вас нужда, мой дорогой, как никогда! Вы знаете, три дня с утра до ночи пытаюсь к вам дозвониться, но это нереально! Это нереальное занятие — к вам дозвониться! Я не отойду от вас, пока не заручусь вашим обещанием, чтобы вы мне позвонили в любой удобный для вас час, я буду стоять у телефона весь день...”

Нормальным людям свойственно смотреть на чудо, на гения в упор. Все так на меня и смотрели! А гению как раз свойственно этого не замечать.

Елена Александровна (новая знакомая Гердта. — М. Г.) не понимает, с кем она связалась, кто этот юный гений, в котором остро нуждается великий мастер. Курточку я уже свою нес как горностаевую мантию. У гениев, это надо знать, у гениев бывают причуды. Толстой любил свою толстовку, а я люблю эту курточку.

Открываются двери, мы входим в зал, и я понимаю, что мы центр внимания всей этой публики.

Я помню всю пьесу Островского “Лес”, я знал все сцены, мизансцены, паузы, да я все знал! В каком-то месте публика: “Ха-ха-ха!”, я спокоен, а в каком-то совсем тихом месте я: “Ха-ха-ха-ха!”, весь зал за мной: “Ха-ха-ха-ха”. Артисты вздрагивают, они в жизни не слышали в этом месте реакции...

В общем, это был, как сегодня бы назвали, звездный вечер юности моей.

Потом прошло дня два, три, четыре, пять. Дело в том, что я дружил с Костей, с пасынком Мейерхольда, по этому поводу я и бывал в доме Мейерхольда. Я пришел к Косте, и приходит Мейерхольд: “А, вы здесь! Ловко я вам подыграл в прошлый раз!” Я говорю: “Я думал все эти дни, как это вам пришло в голову? Вы же не были непременно уверены, что увидите меня?” Он говорит: “Красивая дама, действительно. Красивая, ничего не скажешь. Все же я очень, очень интересный режиссер!”».

И вот теперь этот человек, без которого трудно, невозможно было представить театральную Москву, исчез, как будто его и не было! Но, как ни страшен был удар, надо было жить дальше. И Плучек вместе с Арбузовым продолжали работать со студийцами. Студия требовала от

молодых актеров серьезного и вдумчивого отношения к своему делу. В театре Мейерхольда, откуда вышел Плучек, знание литературы и искусства, посещение театров, выставок являлось неотъемлемой частью работы. Студийцам устраивали настоящие экзамены, они жили полнокровной и очень интересной жизнью. После занятий в студии, репетиций общение продолжалось в скромных застольях, душевных разговорах, за «старыми» студийцами приходили новые. Так Зиновий Гердт привел сюда Михаила Львовского (он учился тогда в ИФЛИ), а тот — своих друзей и соучеников Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Сергея Наровчатова и Давида Самойлова. На одной из таких сходов Коган прочел студийцам новое стихотворение, из которого вскоре возникла знаменитая «Бригантина».

Наверное, он читал им и другие свои стихи. Например, это:

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя...

Эти восторженные юноши, поэты и актеры, были готовы воевать за революцию, за коммунизм во всем мире. И бригантина с алыми парусами прекрасно гармонировала с их революционностью. Что связывало с ними Гердта? Восторженным он никогда не был, но романтиком был и так же высоко, как они, ставил поэзию, творчество, художественное слово. Будучи атеистом, он полностью соглашался с мудрыми словами Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово... и Слово было Бог». Эту веру в Слово ему предстояло пронести через всю жизнь.

*

«Город на заре» был для арбузовцев символом той зари, которую ждала российская интеллигенция в XIX и начале XX века. Зари, ради которой «шли на жертвы и умирали, не думали о деньгах и личном благополучии, трудились, воевали».

Для Гердта роль Вени Альтмана в этом спектакле стала не только подлинным (несмотря на опыты в ТРАМе) артистическим дебютом, но и своеобразным экзаменом. Михаил Львовский вспоминает, что в «Городе на заре» Гердт выступал сразу в трех ипостасях: автор сценария, артист и

рабочий сцены.

Исай Кузнецов вспоминает еще об одном забавном (впрочем, забавном ли?) эпизоде времен постановки «Города на заре»: «Наша студийная нетерпимость и требовательность подчас приводили к тому, что мы периодически кого-нибудь исключали из студии. Правда, ненадолго. Так было и с Сашей Галичем, и со мной, и с Зямой. Исключали его, если мне не изменяет память, после того, как мы перебрались из школы в клуб Наркомфина. Там была бильярдная, куда часто наведывались в свободное от репетиций время и Саша, и Зяма. Вот за игру на бильярде в то время, когда шли репетиции, его и исключили. Это, как, впрочем, и курение, считалось нарушением студийной этики. Смешно, но получалось так, что я, будучи членом совета студии, исключал Зяму, а через какое-то время он — меня. Но проходило немного времени, и всё это забывалось и мы сами над этим посмеивались. Мы были молоды, нетерпимы, но самое главное — любили друг друга».

Михаил Львовский пишет: «О студии Арбузова и Плучека писали много, и о том, как была коллективно создана пьеса “Город на заре”, тоже. Я вспомнил об этом потому, что, рассказывая о творчестве народного артиста России З. Гердта, не упомянуть об этом нельзя. Увлеченный работой в студии, влюбленный в студийность, в содружество единомышленников, он работал с упоением. В спектакле, как и большинство его участников, он сам сочинил для себя роль. Его героя звали Веня Альтман. Недоучившийся скрипач, поехавший строить Комсомольск-на-Амуре, потому что понял — хорошего музыканта из него не получится, значит, со скрипкой надо расстаться “решительно и навсегда”. Естественно, что Зиновий Ефимович был на сцене одновременно и автором, и артистом. Всеми силами руководители студии старались победить в нем автора и оставить только артиста. Может быть, для роли и спектакля это было бы лучше, но для личности, которую мы сегодня называем Зиновий Гердт, одержи они победу, дело обстояло бы весьма печально».

Премьера пьесы «Город на заре» состоялась 3 февраля 1941 года в клубе трикотажной фабрики в Малом Каретном переулке. «Лучшие режиссеры Москвы обнимали меня, — говорит Плучек, — и поздравляли с рождением театра». Гердт вспоминает: «И это была сенсация! Нас признали, студия получила статус государственной. Мы (с И. Кузнецовым. — М. Г.) бросили слесарное дело и стали профессиональными актерами. Нам дали клуб в Каретном переулке. Прекрасно помню премьеру. Лютая

предвоенная зима. Я видел много шумных театральных событий и у нас, и не у нас. Но ничто не может сравниться по энтузиазму публики с той нашей премьерой! В первый вечер людской напор вышиб входные двери. Их приладили, но назавтра их вышибли еще основательнее — вместе с дверной коробкой. Никакие гардеробы не могли справиться. Люди швыряли пальто и шубы прямо на пол, в кучу. Дубленок не было, и жизнь была очень интересной.

Сейчас, вспоминая, я твердо могу сказать, что за всю жизнь я не получил столько, сколько за те три первых студийных года. Там не было умыслов, только помыслы».

Окрыленные молодые актеры уехали отдыхать. Но когда вернулись — разразилась война. Жизнь студии оборвалась, едва начавшись.

А обещала она много, эта талантливая, живая и так внезапно распавшаяся студия. Сам Валентин Николаевич Плучек считал ее одним из важнейших этапов своей жизни. Все, кто знал ее участников и видел их на репетициях, тоже оценивали ее очень высоко. Студия — даже не специально эта, а студия как модель, как образ — была нужна не только потому, что молодым актерам надо было где-то работать. Со словом «студия» связывались смелость поисков в театре, вдохновение, легкость, импровизация и открытое выражение своих мыслей. «Студии все ждали, как ждут родника в пустыне, даже не зная, каким он будет. Студийцы отличались трепетной преданностью театру, дружбой и особым этическим потенциалом; здесь сложилась новая генерация российской интеллигенции, той самой, советской, верующей в идею справедливого общества и огульно проклятой сегодня нуворишами от политических спекуляций» — так говорил об арбузовской студии Ролан Быков.

Декорации театра были крайне скромны: он возник как спектакль студийный, на маленькой, неудобной клубной сцене. Потому оформление, например, было чрезвычайно лаконичным: хилая березка, тайком срубленная студийцами в соседнем парке, обозначала глухую тайгу, предоставляя воображению зрителей дорисовывать целую картину. Детали, однако, были точно отобранными и выразительными. Манера игры студийцев сочетала правдивость, полнейшую достоверность с лирической окрашенностью каждого слова, юношеское вдохновение — с интимностью тона.

...Война, хоть ее и ждали, обрушилась на всех неожиданно. Но человека трудно лишить надежды. И студийцы, расставаясь, верили, что разлука их не будет окончательной. Но вновь собраться вместе им было не суждено...

Да, как ни пытаются скептики осмеять романтическую влюбленность в красоту жизни, свойственную художникам, но без нее не было бы создано ничего сколь-нибудь стоящего в нашей горестной земной жизни.

Валентин Плучек в первые месяцы войны поставил спектакль для одного из фронтовых театров. Эти небольшие передвижные коллективы тогда организовывались под крышей Всероссийского театрального общества, возглавлявшегося А. А. Яблочкиной и другими корифеями российской сцены, сделавшего очень много хорошего, даже подчас спасительного для нашего театрального искусства. Спектакль Плучека — музыкальное народное действо «Братья Ивашкины» — прошел с большим успехом. Валентин Николаевич был приглашен художественным руководителем в театр Северного флота. Это был знаменательный период в его жизни. Как всегда быстрый и решительный, Плучек собрал репертуар из советских и классических пьес, и в городе Полярном началась новая глава его биографии.

Тем временем почти все студийцы ушли на фронт. Немногие из них вернулись в Москву после окончания войны. А те, кто остался в живых, навсегда запомнили это время. Подтверждением тому — замечательное стихотворение Давида Самойлова «Сороковые»:

...Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Глава четвертая ВОЙНА

На войне воюют, а не играют.

Зиновий Гердт

Шли первые недели войны. Студия готовила концертную программу, с которой собиралась выступить перед солдатами. А часть студийцев уже покидала Москву с рюкзаками — кто в запасные части, чтобы потом отправиться на фронт, кто с ходу в бой. Студия не сразу стала фронтовым театром — паника 16 октября, когда казалось, что фашисты вот-вот возьмут столицу, спутала планы. Но постепенно все собрались в Москве, и то, что осталось от студии, стало передвижным фронтовым театром под руководством Плучека и Арбузова. Студийцы, не попавшие на фронт (среди них был Александр Галич, у которого врачи нашли порок сердца), репетировали, где удавалось.

Из записей Владимира Скворцова: «В субботу 28 июня 1941 года в районе Второго Астрадамского тупика неподалеку от Пышкина Огорода и Соломенной Сторожки (это названия трамвайных остановок в том районе, где раньше жил З. Е. Гердт) я, 10-летний мальчик, с крыльца дома наблюдал, как москвичи валили вековые сосны, чтоб соорудить три наката над землянками — убежища от авиабомб».

В те дни Гердт еще был в Москве. Но уже 7 июля он добровольцем отправился на фронт. Вспоминает Исай Кузнецов: «Какие поправки?! Война! И вот уже новая фотография: я иду с Зямой по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади... Откуда взялся Зяма? Кажется, я позвонил ему, и мы встретились у одной нашей общей знакомой, жившей на Арбате. По-видимому, долго у нее не засиделись. Возле Литературного института навстречу нам стремительно, или вернее, целеустремленно, шагают Борис Слуцкий, Павел Коган и Миша Кульчицкий. Они направляются в райвоенкомат — проситься на фронт. Всего четыре месяца прошло со дня премьеры “Города на заре”. В студии готовились к репетициям “Рюи Блаза” и нашей “Дуэли”. Но мы с Зямой не сомневались — в такие дни надо не репетировать, а воевать. И тоже отправились в военкомат. Мы не были освобождены от действительной службы, и у обоих в военных билетах стояло: “Годен. Не обучен”. Ничего, обучат! От моего дома в Останкине до сада имени Калинина пять минут ходьбы. Оттуда до

наших окон еще недавно доносились звуки духового оркестра. Там смотрели кино, танцевали, просто гуляли. Сейчас из черных репродукторов над входом в сад до нас, повторенные эхом, доносятся только предупреждения: “Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!” Во дворе нашего дома вырыта щель на случай бомбежки...

Второй месяц войны...

Почему Зяма, живший у Тимирязевки, призывался здесь, у нас в Останкине, в клубе имени Калинина, не знаю. Но мы сидим на садовой скамейке возле продолговатого деревянного здания кинотеатра, где заседает призывная комиссия, и ждем, когда выкрикнут его фамилию...»

*

О «своей» войне Гердт вспоминал в беседе с Эльдаром Рязановым: «Меня определили в саперы, поскольку у меня как бы техническое образование. Сначала в Болшево, в военно-инженерное училище. Через несколько месяцев я был выпущен младшим лейтенантом, и направили меня под Воронеж. На Дон, между Старым и Новым Осколом. И я приехал и увидел первых убитых. Это было так страшно, Эльдар! Нельзя рассказать! Лежит мальчик, у него черное лицо, и по этому лицу ползут мухи, и ему не доставляет это никакого неудобства. Ты представляешь себе? Притом что лето и жутко пахнет. Человеческое тело разложилось. Нестерпимо отвратительно пахнет, понимаешь? Я очень перепугался!»

В 1998 году в «Общей газете» появилась статья Юнны Чуприной «Любить, жить, ждать», в которой были опубликованы письма Зиновия Ефимовича с фронта жене. Думается, без этих писем биография артиста будет неполной.

Ей было 21, а ему 23. Он был таким худым, что его мама шутила: «Если Зяму посадить на рубль, как минимум 95 копеек будут видны». Они поженились в 1941 году, а расстались в 1945-м. Расставшись, по отдельности они прожили вдесятеро дольше, чем вместе — более полувека. Мария Ивановна пережила первого мужа на восемь лет и скончалась в 2004 году. Она сохранила почти сто писем Гердта. Вначале письма приходили от курсанта саперного училища, затем — от гвардии лейтенанта саперного

батальона, последние — от раненого бойца из сибирских госпиталей.

В статье Ю. Чуприной, разумеется, приведены не все письма Гердта, но и опубликованные свидетельствуют о незаурядных литературных способностях Зиновия Ефимовича.

Из письма 16 июня 1942 года:

«Э-ге-ге-гей! Милая, ты услышь меня, в блиндаже сижу и заряд вяжу».

Дальше шли стихи:

Это просто невозможно.
Сколько можно, разве можно
Ждать и ждать, ждать и ждать,
Волноваться и гадать.
Я приказываю гневно,
Чтоб писала ежедневно,
Ежедневно, ежечасно.
Ведь неведение ужасно.
Если ты замедлишь вестью —
Я убью тебя на месте.
Если ты мне не напишешь,
Я тебя повешу, слышишь?
Заруби мои вопросы
На своем носу курносом.
В остальном же все в порядке.
Время мчится без оглядки,
Молоко подешевело, это дело.
Сквозь пургу, ветер, туман
Доползет к тебе Залман.

А вот одно из первых писем Гердта Марии (январь 1942 года, Мензелинск):

«Девочка моя, дорогая! Я здесь пробуду еще с месяц, затем туда... <... > Я здесь во всю мощь развернул актерскую деятельность. Очень часто выступаю в концертах с куклами и гитарой. Теперь, когда я знаю, что ты в Москве, я буду писать тебе письмо за письмом. И в каждом буду вставлять стихи, хорошие они или плохие — но искренние. И написаны только для тебя. Жду писем. Наикрепчайше целую тебя в мизинец! Твой старик Зямка».

В этом письме ощутимо влияние Михаила Светлова — не только

оттого, что он, как и Гердт, смолоду называл себя стариком, но и из-за тонкой иронии, насмешки — в первую очередь над самим собой. Гердт любил стихотворения Светлова, в том числе это:

К моему смешному языку
Ты не будь жестокой и придиричивой, —
Я ведь не профессор МГУ,
А всего лишь
Скромный сын Бердичева...

Будь я не еврей, а падишах,
Мне б, наверно, делать было нечего,
Я бы упражнялся в падежах
Целый день —
С утра до вечера.

Гердт познакомился со Светловым еще до войны — об этом мне рассказывала Лидия Борисовна Либединская. Это случилось на праздновании дня рождения Светлова. Почему и как туда попал Зиновий Ефимович, Лидия Борисовна не вспомнила, но точно знала, что случайности в этом не было. Светлов уже был знаком с артистами ТРАМа — возможно, его привел туда Всеволод Багрицкий. Вроде бы он собирался поставить в театре свою пьесу «Неделя». Лидия Борисовна хорошо помнила «речь» Зиновия Ефимовича на этом юбилее. Он сказал, в частности: «А знаете, Михаил Аркадьевич, ведь наше знакомство не случайно: я знаю, что лучшее ваше стихотворение “Гренада” вы написали в 1926 году, то есть посвятили его моему юбилею. Мне тогда исполнилось десять лет. Но сейчас я “Гренаду” читать не буду, хотя это мое и не только мое любимое стихотворение. Но не меньше “Гренады” я люблю вашу “Пирушку”. Поверьте, я готов ее читать по случаю любого пира». И Гердт с большим мастерством прочел отрывки из этого стихотворения, которое большинству присутствующих было незнакомо. Когда он читал вторую строфу:

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, —

Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя, —

чтение продолжил поэт Юрий Николаевич Либединский, будущий муж
Лидии Борисовны:

Пей, товарищ Орлов!
Пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони
Отчаянных дней.
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней.

Потом чтение продолжил Зиновий Ефимович. Лидия Борисовна
вспоминала, с каким упоением он прочел последние строфы:

...Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней...
Выпьем, что ли, друзья,
За семнадцатый год,
За оружие наше,
За наших коней!..

Лидия Борисовна говорила мне, что уже тогда она восхищалась и
голосом Гердта, и его памятью. Гердт и Светлов дружили всю жизнь, а
когда поэту исполнилось шестьдесят лет, на вечере в Доме литераторов
Гердт прочел его стихотворение «Охотничий домик». И Лидия Борисовна
прочла по памяти несколько строф:

Старость — роскошь, а не отрепье,

Старость — юность усталых людей,
Поседевшее великолепые
Наших радостей, наших идей...

Жизнь моя! Стал солидным я разве?
У тебя, как мальчишка, учусь.
Здравствуй, общества разнообразие,
Здравствуй, разнообразие чувств.

*

Мы уже обращали внимание на то, что письма Зиновия Ефимовича отражают не только его настроение, но и состояние души. Письмо от 12 июня 1942 года рассказывает об одном из самых трагических дней в жизни Зиновия Гердта:

«Я хочу тебе рассказать, девочка, как умер Василий Борзых. Он всегда был моряком, а война приказала ему надеть пехотную гимнастерку, сапоги и пилотку. И Василий пошел в пехоту. Был он шумный веселый парень с трудно разборчивым голосом. Храпел он, как Женька Долгополов, даже еще сильнее. Звание у него было старшины второй статьи, морское. Однажды вечером он мне рассказал про Марсель, он там бывал в 1934 году.

Мы бежали вверх по невспаханному лугу, мокрые от пота, и вот Василий упал! А когда через полчаса его принесли в деревню, он не хотел, чтобы его вносили в сарай, он хотел смотреть в небо. Синее небо... Я смотрел на него и не понимал, что Василия Борзых больше нет... Он сказал мне: “Дайте, пожалуйста, мой вещевой мешок”. Удивительно чистым голосом, как у Севки Багрицкого. Мешок был под ним, на спине. Я обрезал ляжки и осторожно вытащил мешок. Он серьезно смотрел вверх. Почему, думаю, голос стал чистым? Он попробовал развязать мешок, но мы помогли ему. Покопавшись в нем, он достал тельник, бескозырку и воротник морской. Поднес к глазам и широко развел руки. Чистым, свежим голосом он запел: “Раскинулось море широко”. Он смотрел все в небо, и глаза его заблестели водичкой, и у меня тоже, и у всех. Тут же он умер.

Я плакал, мурашки прыгали по спине, потому что он не придумывал себе никогда эту красивую смерть. Он не вычитал ее ни в какой книге. По моему, он ничего не читал. Это не из пьесы, а театрально... Может быть, я буду еще делать роли, но умирать на сцене — вряд ли. Потому что это

назовут театральщиной... Расскажи это Арбузову... За мной пришли...»

После прибытия на фронт в звании лейтенанта, командира саперной роты, Гердт воевал на Дону, под Воронежем, а в конце года, после провала немецкого наступления под Сталинградом, был вместе с частями Воронежского фронта переброшен под Белгород. Вот его письмо жене от 18 августа 1942 года:

«...Урвал, наконец, минутку, чтобы сообщить тебе, что муж твой жив, здоров и успешно воюет с мадьярами, венграми, немцами и прочей сволочью. О том, что моя работа полезна, подробней узнаешь из последующих писем, которые будут обстоятельнее.

У нас идут ожесточенные бои. Сейчас я только понял эту обыденную фразу из Совинформбюро. Сообщи адрес Балтфлота (туда в это время уехала выездная театральная бригада. — М.Г.). Целую, Зямка».

А это написано 27 сентября:

«Если бы ты знала сержанта Самодюка, видела бы его богатырский стан и есенинскую шевелюру. Если бы ты знала, что это за парень, как часто он вынимал из записной книжки маленькую карточку с курносой девушкой. Если бы ты слышала, как он пел: “Ой, ты, Галя, Галя молодая”. Ах, маленькая, слишком мало настоящих простых и крупных людей мы видели. Смерть в такую ночь!

Я очень хочу жить. Для того, чтобы видеть тебя моей, жить для того, чтобы понять, что я пережил это время войны, понять, что я видел. Ведь для того, чтобы увидеть картину художника, нужно отойти от нее на некоторое расстояние, иначе мешают мелочи, мазки, отвлекающие от общего впечатления. Так и на войне. Только тогда я увижу всю эту грандиозность, когда буду иметь возможность вспомнить о ней в мирных условиях. А сейчас видны лишь эпизоды, детали, закрывающие общую картину. Слишком близко я наблюдаю, изнутри. Жить я хочу, наконец, потому что только теперь я познал цену жизни, познал цену мирной жизни. Но если не судьба, это только в такую ночь смотришь в далекое небо.

Очень тихо было, когда не стало Самодюка. Еще тишины такой я хочу — если не судьба. Ты скажешь — глупец. И противная мечта, верно, жить и жить. Но судьба, каналья, правит этими делами. Покамест мы с ней в ладах, надеюсь не испортить взаимоотношения. Я не снимаю своей обширной шинели (пятый рост), потный, в грязных сапогах, в общем, как есть, не умывшись, посмотрю в ту сторону, где ты. И так, не отрывая глаз, пойду тяжелыми шагами по прямой, чтобы короче путь, чтобы скорее ты!.. Вот о чем мечтаю я в эту тихую, лунную ночь на крутом донском берегу в блиндажке, без гимнастерки, до того теплая ночь. Эх, Самодюк!

Твой Зямка».

В письме от 7 октября отчетливо слышится тоска по мирной жизни: «Родная, любимая, никак неповторимая! Представь себе такую картину. Я сижу в доме (!). На столе стоит лампа (!!). У меня чистые руки (?!?!). Не хватает самовара, того, другого... много чего не хватает... Сейчас полночь, тишина. Ну, прямо будто и войны никакой нет. А зашел я к пекарям в деревню, всего каких-нибудь 2 километра от фронта. Накипятили мне чугуна воды, вышел я во двор и... чувствовал себя гораздо блаженнее, чем в Сандуновских банях. Только очень холодно одеваться».

А вот не письмо, а чудом сохранившаяся телеграмма Гердта домой:

«Здоров как быть войне привык

Дерусь упрямо целую Зяма».

Те, кто печатал телеграмму, сделали очень «существенную» ошибку: вместо «как бык» написали «как быть», что сильно взволновало маму Зиновия Ефимовича.

Настроение бойца Гердта становилось все более бодрим. Сказывались и успехи Красной армии, и переписка с родными. Свидетельством тому письмо от 18 января 1943 года:

«Э-гей, дорогая! Ну-с, вот и минута. Веришь ли, вот уже около 10 дней, как буквально ее, этой минуты, не было. Началась изящная жизнь. Мы за несколько дней продвинулись на Запад на 40 километров. Мадыр бежит некрасиво. Бог ты мой, до чего ж сопливые!!! Но должен сообщить: 1) вступил в кандидаты в члены ВКПб, 2) на левой стороне груди красиво покоится медаль за отвагу. Во какие дела, 3) погоди, повоюю еще, и орден будет, 4) жив-здоров.

Бумага и конверт мадырские. Чуешь? Даем им прикурить, дышим им в пузо! 5), 6), 7), 8), 9) и т. д. Целую, твой Зямка».

В ту пору Зиновий Ефимович еще не знал о том, что многих его друзей уже нет в живых: 22 января 1942 года погиб Всеволод Багрицкий, немногим позже — брат Исая Кузнецова Борис. В сентябре под Новороссийском пуля сразила Павла Когана, в январе 1943-го под Харьковом, недалеко от Белгорода, пал смертью храбрых Михаил Кульчицкий. Самого Гердта смерть едва миновала. Его племянник Владимир Скворцов писал: «Во второй половине 1942 года, уже на фронте, Зяма обезвреживал мину, и она не взорвалась в его руках только потому, что он отращивал пижонские артистические ногти. Как Саша Пушкин. Ими-то он и отвинтил в mine нужные винтики. Но вскоре другим снарядом его сильно контузило. Моя бабушка, Зямина мама, всех кругом расспрашивала, а что такое контузия, какие бывают последствия. И только

третий снаряд, уже в феврале 1943 года, сделал одно колено Зямы навсегда непреклонным».

Вот письмо Гердта, написанное в марте 1943 года:

«Деточка, сколько ни таи, а сказать надо. Уверенность, что со мной ничего не может случиться, ан случилось. Случилось это 12 февраля под Харьковом. Саданул на меня враг из танка снарядом. Осколок врезался в кость левее бедра, повыше колена. И натворил там скверных дел».

Рана была тяжелой, сначала врачи хотели ампутировать ногу. На счастье артиста, хирург полевого госпиталя Ксения Винцентини твердо решила вылечить его. После 11 сложнейших операций нога Гердта была спасена, хоть он и остался хромым до конца жизни. Как-то, разговорившись с пациентом, Ксения Максимилиановна призналась, что ее муж сидит в лагере как «враг народа». Она была женой выдающегося конструктора, будущего создателя первых космических кораблей Сергея Королева, но, конечно, Гердт не подозревал об этом.

А 3 апреля 1943 года он написал жене из госпиталя в Белгороде:

«Жена моя, радость! Очень хочу видеть тебя и очень боюсь показываться на глаза. О! Ничего похожего на того толстого, румяного, благодушного декабрьского гвардии лейтенанта в красивой кожаной куртке нет. Теперь я закован в гипс. Гипс — суровая вещь. Никаких движений, ни ногой, ни туловищем, только голова и рука на свободе. Но как ни мучительна эта новая неволя, как ни странно, я оказался терпеливым и даже выдержанней многих моих друзей по несчастью. Знаешь, я не умею стонать, а все кругом стонут, и им от этого вроде легче.

Не знаю, во всяком случае, слушать “охи” и “ахи” довольно противно. <...> Впрочем, что это я разговорился о своих хворобах? У Чехова есть такая запись: человек любит говорить о своих болезнях, а это самое неинтересное в его жизни. Прав товарищ. Ну, больше не буду. Март прошел довольно тепло и вместе с тем довольно тоскливо...»

Позже Гердт рассказывал Эльдару Рязанову: «Лежал я в Белгороде в госпитале, была крошечная комнатка, метра два с половиной. Помещались только моя кровать и табуретка. Я должен был бы лежать в гипсе, но в Белгороде не было гипса. Никаких лекарств, кроме красного стрептоцида. И никаких перевязочных средств. Была шина. Шина металлическая, проволочная, и она выгибалась по форме сломанной ноги. А там выбито восемь сантиметров живой кости, над коленом. Вздохнуть или там чихнуть — не дай бог, я терял сознание от боли. Я не спал, потому что знал, что умру, если усну. Днем я иногда засыпал. Затем меня перевезли в Курск, там сделали первую операцию. И я был счастлив: ничего не болит, лежу весь в

гипсе почти до шеи, кроме пальцев левой ноги. И жуткий голод. Меняю сахар на хлеб, чтобы как-то насытиться. Потом меня привезли в Новосибирск. Там я перенес три операции. В Новосибирске был такой жестокий военный хирург, который говорил, что чем больше раненый кричит на столе, тем меньше он страдает в койке. Мне без наркоза, под местной анестезией он долбил эту кость. Три раза! Негодяй, жуткий негодяй! Я боялся этого! Боль жуткая. Но, действительно, через час уже не так больно, чем когда после наркоза. Потом меня привезли в Москву. И вот здесь были главные операции. Шесть штук. Всего было одиннадцать операций. В общей сложности я пролежал в госпитале четыре года. Выпускали несколько раз, на костылях, а потом я возвращался, потому что только-только начинающее срастаться опять обламывалось. Окончательно я вышел в 47-м».

Война сохранилась в памяти Гердта на всю оставшуюся жизнь, и не только потому, что он стал инвалидом. Быть может, об этом короче и точнее всех написал Виктор Некрасов: «Потом ушел на фронт. Добровольцем. Лейтенант саперной роты, он был тяжело ранен в 1943-м. И стал хромать. Долгое время считал, что это закрыло ему навсегда дорогу на сцену».

И еще одно письмо Гердта жене от 1 декабря 1942 года:

«Бить фашистов это уже не такая веселая работа, и остроумия набраться в ней сложно. Я говорил, что, может быть, это очень хорошо, что ты не представляешь мои дни и ночи. Тебе их сейчас не надо знать. Потом, когда все это кончится, если я увижу это “кончится”, тогда я тебе расскажу всю свою войну. День за днем. И тогда это будут увлекательные рассказы из прожитого. А сегодня... Сегодня война! Жестокая, трудная, беспощадная. Понимаешь, жена? Кроме тебя у меня никого и ничего нет. С тобой хожу по ночам на минные поля немцев. С тобой сижу короткие часы у железной печурки своего блиндажика. Все везде, все всегда, куда угодно — с тобой. А ты совсем еще маленькая и не можешь еще понять, как дорога, нужна, невыносимо нужна ты...»

Для Гердта бой тогда еще не закончился. Еще раз вернемся к его письму от 18 марта 1943 года:

«...Сейчас собираюсь в тыл. Мучаюсь нечеловечески, что будет с ногой сейчас сказать трудно... Но это пустяки. Попасть бы скорей в нормальные условия. Лечиться мне еще месяца четыре. Но, родная моя, не отчаивайся, все обойдется. Желай мне здоровья и воли. Устал зверски. Сейчас пока адреса у меня нет, в дороге. Жди вестей».

В 1944 году Гердт вернулся в Москву. Маша была счастлива, надеялась на счастливую семейную жизнь. В марте 1945-го у нее родился сын

Всеволод, но еще до этого супруги расстались. Мария Новикова больше не выходила замуж. Она работала в театре, по-прежнему влюбляла в себя мужчин, но сама никогда больше никого не полюбила: «Таких, как Зяма, больше нет». Всю жизнь она не могла понять, как их любовь могла исчезнуть в одночасье, если он писал ей с фронта такие прекрасные письма.

В жизни так много загадочного, непонятного. Мы нередко задаемся вопросом: «Почему получилось так, а не иначе?» Казалось бы, все должно было выстроиться по-иному, но... в какой-то момент Зиновий Ефимович объявил жене, той самой, которой незадолго до этого бесконечно объяснялся в вечности чувств: «Влюбился. Ухожу».

*

День Победы он встретил уже без Марии. Тогда его впервые увидела сценарист Галина Шергова, вспоминая: «В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги. Приходили самые разные посетители. И кто-то привел его. Тоже узнанного только что. В комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: “Все! Они с нами уже ничего не смогут сделать!” И в этом ликующем утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности побежденного врага. “Они” вмещало в себя всех и вся, кто когда-либо попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами».

Для Гердта День Победы навсегда остался главным праздником. Символично, что на эту дату приходился и день рождения двух близких ему людей — Татьяны Правдиной и поэта-фронтовика Булата Окуджавы.

Татьяна Александровна вспоминает: «Последний раз Зяма и я виделись с Булатом неожиданно — в лечебном институте. Я привозила туда Зяму на процедуры, и доктор, к которой на консультацию приехал Булат, сказала ему, что здесь Гердт (она была и Зяминим доктором и знала, что мы дружны)... Много лет подряд, когда наступал август, мы общались круглосуточно — на поляне в лесу на реке Гауя в Прибалтике. И когда, достаточно часто, я думаю о Булате, то, как одно из “чудных мгновений”,

вспоминаю: я сижу у палатки за собственноручно сколоченным Зямой столом, корпя над каким-то арабским переводом; от палатки, стоящей метрах в двадцати от нашей, приближается Булат и читает мне только что написанное им про “пирог с грибами”... У нас у всех отпуск, но у творческих людей любой профессии отпуска не бывает. А уж у Поэта — никогда. “Господи, мой боже, зеленоглазый мой...” — уверена, Пушкин бы одобрил».

Стихотворение «Божественная суббота», написанное Окуджавой 29 апреля 1974 года в Ленинграде, поэт посвятил Гердту:

Божественной субботы
хлебнули мы глоток.
От празднеств и работы
закрылись на замок.
Ни суетная дама,
ни улиц мельтешня
нас не коснутся, Зяма,
до середины дня.

<...>

Уже готовит старость
свой непременный суд.
А много ль нам досталось
за жизнь таких минут?
На пышном карнавале
торжественных невзгод
мы что-то не встречали
божественных суббот.

Ликуй, мой друг сердечный,
сдаваться не спеши,
пока течет он грешный,
неспешный пир души.
Дыши, мой друг, свободой...
Кто знает, сколько раз
еще такой субботой
наш век одарит нас?

Единственный сын Гердта был назван в честь его друга, погибшего на фронте Всеволода Багрицкого. Из рассказа Исаия Кузнецова я узнал подробности гибели Всеволода, талантливое стихотворение которого он прочел мне однажды наизусть:

Мы двое суток лежали в снегу.
Никто не сказал: «Замерз, не могу».
Видели мы — и вскипала кровь —
Немцы сидели у жарких костров...

Мы окружили их блиндажи.
Мы половину взяли живьем...
А ты, ефрейтор, куда бежишь?!
Пуля догонит сердце твое.

Кончился бой. Теперь отдохнуть,
Ответить на письма... И снова в путь!

Сегодня не так уж много людей помнят эти стихи, но сам Всеволод Багрицкий никогда не терял веры в будущее, в свою поэтическую судьбу. В августе 1940 года он писал маме, Лидии Багрицкой-Суок, находившейся тогда в ссылке: «Мы с тобой заживем счастливо и забудем о годах разлуки, о тяжелых днях, о тоске. Будущее наше, наше и никаких гвоздей! Верь в это». В это верили все друзья Гердта, все фронтовики его поколения — это и дало им возможность пережить самые трудные годы их жизни.

Глава пятая «О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ»

*И вечный бой, покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...*

Александр Блок

81-й полк 25-й гвардейской стрелковой дивизии стоял на берегу Дона. Рядом горка, там грохот и раненые. Хрупкая 19-летняя Вера Веденина сновала вверх и вниз, все время с грузом. Вверх — с боеприпасами, вниз — с истекающими кровью бойцами. Неизвестно, какой уже по счету раненый парень вопил так страшно, так пронзительно, что ей казалось — умирает человек. А он был ранен в мякоть ноги, кость даже не задета...

Шли уже вторые сутки танковых атак противника. Без передышки, едва держась на ногах, она схватила новую порцию патронов и гранат — и наверх. Огляделась и не услышала, как всегда это было прежде, а увидела раненого. Он не звал на помощь, молча корчился от боли. Подползла под огнем, дождалась минутного затишья, сказала: «Обопритесь на меня». Он старался опираться как можно меньше, чтоб не было так тяжело измученной девушке. Уже внизу, на безопасном участке, оказывая первую помощь, она взгляделась и узнала его — командир саперной роты Зиновий Гердт, тот самый, который так здорово выступал недавно на концерте художественной самодеятельности. Чай еще потом все вместе пили в землянке. Однажды Зиновий Ефимович пошутил: «Я был лучшим Гитлером Второго Белорусского фронта».

Позже Вера Веденина вспоминала: «Первую помощь я оказывала Зиновию Ефимовичу, я ему накладывала шину, перевязывала и тащила его до повозки, у него был перелом». А вот что об этом вспоминает Гердт: «В шикарное февральское утро сорок третьего года под Белгородом, когда наша рота отражала очередную танковую атаку, меня ударило осколками снаряда в ногу. Здесь, быть может, мне и лежать бы вечно — и день был несчастливый, 13-е, — если б не молоденький санинструктор Верочка Веденина. Эта божественная женщина, не задумываясь о своей жизни, 13

февраля 1943 года спасла мою жизнь, пронеся меня, раненого, с километр на своих руках».

«Я навсегда считаю ее своей спасительницей», — говорил Зиновий Ефимович в одном из своих интервью. И всю последующую мирную жизнь ошарашивал ее сюрпризами. Уже в девяностые как-то увидел, как тяжело она поднимается на свой четвертый этаж — дом-то без лифта. И, не предупредив, взялся хлопотать о новой квартире для нее. Она воевала всю войну, а тут больное сердце и четвертый этаж «хрущевки»...

«И я положил себе: “Расшибусь, пойду торговать лицом перед начальниками, добыюсь!” Ни Брячихин, тогдашний партийный хозяин района, ни Илья Заславский, предрайисполкома, — каждый что-то пообещал, но ни черта не сделали. Верочка лишний раз за молоком не спустится — потом ведь надо ползти на четвертый... А Умалатова, на всех митингах выступающая за малоимущих фронтовиков, за мою Верочку, уже, говорят, приватизирует что-то весьма престижное в Крылатском. Вот это мое страшное поражение. Пойду попрошусь к Лужкову, даст бог, что-то и получится...»

Ему удалось выбить новую квартиру, но Веденина отказалась. Ей была дорога старая — здесь прошла ее жизнь, здесь умер муж...

Прошло несколько лет, и судьба подарила Зиновию Ефимовичу и Вере Павловне новую встречу — на юбилее Гердта. 21 сентября 1996 года по центральному телеканалу шла прямая трансляция — нет, не с внеочередного или очередного заседания Думы, а с 80-летнего юбилея Зиновия Ефимовича Гердта. Это было абсолютно искреннее и вдохновенное признание в любви юбиляру самых разных людей — знаменитых, суперзнаменитых и совсем неизвестных. Каждый выкладывался полностью и был в этот момент гениален — именно так, восхищаясь, очень часто говорил о людях Зиновий Ефимович. На протяжении всего празднества он сидел на сцене, рядом с ведущим этого концерта Юрием Никулиным. Никулин тогда и представил женщину, которая спасла Гердта во время войны — Веру Веденину. Вера Павловна, Никулин и Гердт — три фронтовика — сидели на сцене вместе.

Незадолго до юбилейного вечера ей звонила журналистка «Новой газеты» Галина Мурсалиева:

«— Вера Павловна, здравствуйте! Как вы себя чувствуете?»

— Неважно. Как ни обидно, но, видимо, в день рождения Гердта буду находиться в госпитале. Меня должны положить со дня на день, как только освободится место.

— Что-то серьезное?

— Все сразу: и сердце, и ноги не слушаются. Мне ведь уже 75, и, знаете, очень тяжелый был год, умерли восемь близких, очень дорогих мне людей — фронтовики уходят. Какая-то страшная душевная тревога, даже во время войны не было такого ощущения.

— Страха?

— Нет, именно тревоги. Самое страшное: люди не ценят друг друга. Каждый старается уязвить другого побольнее. Вот, кажется, Ахматова предлагала создать общество людей, не говорящих худо о своих ближних. Чтоб сохранить хотя бы минимальную чистоту воздуха.

— Наверное, такое общество создавалось сразу там, где появлялся Гердт.

— Это точно, — сказала она, — точно. “Всех пожалел, во всех вдохнул томление...” Как будто это о нем писала та же Ахматова. Так его сегодня не хватает.

Мы с ней еще немного поговорили по телефону. Она вспомнила, как съехались из разных городов страны как-то вдруг, не стовариваясь, сразу девять однополчан. И все вместе пошли к своему Гердту на “Необыкновенный концерт”. От него предстоящую встречу держали втайне и только в антракте проникли за кулисы. Многих он не видел с военных лет, а это были уже 60-е годы.

— Радость его просто невозможно описать словами, — сказала Вера Павловна, — а в конце концерта объявили: “Сегодня у нас не только ‘Необыкновенный концерт’, но и необыкновенная встреча с однополчанами”. И очень долго зал аплодировал нам стоя...

Мы немного помолчали.

— Вот, — сказала она, — поговорили о Гердте, и сразу как-то полегчало, а то ведь я все о болячках.

— Вера Павловна, я могла бы вам чем-нибудь помочь?

— Напишите, что такая атмосфера, какая создалась у нас сегодня: высокие цены, безработица, разлад между людьми, очень похожа на ситуацию Германии начала 30-х годов. Я в “Итогах” увидела кадры: они уже чеканят шаг, у них огромный зал, они кричат, вскинув руку: “Слава России!” Я — русский человек, родом из села Дерновка Орловской области, хочу прокричать: такая слава России не нужна, потому что это — слава позора. Потому что в стране, где столько могил людей, отдавших свои жизни за то, чтобы освободить от этой чумы мир, не должны свободно разгуливать люди со свастикой. Это — оскорбление. Их надо срочно арестовывать, судить. Срочно, потому что иначе с ними будет уже не справиться... Они кричат о русском порядке, но русские люди фашистами

быть не могут. Потому что фашисты — не люди. Меня не ранило на фронте, а вот эти кадры — в самое сердце...»

Антифашистская, антигитлеровская тема была близка и самому Гердту. Он боролся с фашизмом на войне и в последние годы жизни с горечью наблюдал, как тот же по сути фашизм поднимает голову на его родине, в его Москве. Однажды он даже пришел на митинг, где открыто возглашались ксенофобские, антисемитские лозунги. Режиссер Валерий Фокин рассказывал мне: «Чуть ли не сам Лужков подошел к нему и сказал: “Зиновий Ефимович, пойдёмте, не надо здесь стоять... Нас могут защитить...” — а он ответил: “Я просто хочу посмотреть им в лицо, как они меня, ветерана войны, еврея, будут убивать...” Не каждый может совершить такой поступок. А ведь мы сами воспринимали его по большей части как остроумного собеседника, как Зяму, который всегда шутит, который всегда элегантен и шампанистый...»

А мне в этот момент вспомнилось, как в мэрии Москвы проводилось совещание по подготовке к 50-летию Победы над фашистской Германией. Участниками совещания были крупные чины, военные и гражданские. Собралась вся художественная элита Москвы — Элина Быстрицкая и Сергей Юрский, Марк Захаров и Марлен Хуциев... Приняли в нем участие и Михаил Швыдкой, тогда заместитель министра культуры, и Людмила Швецова — в ту пору первый заместитель мэра Москвы.

Где-то между Владимиром Этушем и Григорием Баклановым скромно, как бы невзначай приютился Зиновий Гердт. Все были активны и взволнованны, предлагали различные мероприятия к предстоящему празднику. Зиновий Ефимович скромно и даже как-то застенчиво молчал, а когда «дебаты» уже подходили к завершению, неожиданно попросил слова. Я, к сожалению, не записал эту короткую, но блистательную речь. Не удалось мне найти и протокол этого заседания. Но попытаюсь пересказать то, что услышал. Гердт говорил, что волнение в преддверии такого праздника и столь активное участие в его подготовке московской интеллигенции вполне естественны, иначе и быть не могло. Но его сегодня волнует другое: готовясь к празднику Победы над немецким фашизмом, мы как будто не замечаем — может быть, проще не замечать, чем противодействовать? — как гуляет фашизм по Москве (Гердт повернул голову в сторону сидевших во главе стола высоких начальников, военных и гражданских). Последние его слова воспроизвожу уже по записи: «Простите меня за то, что моя реплика не совпадает с целью сегодняшнего уважаемого совещания, но я не мог сегодня не сказать об этом — все это волнует меня не меньше, чем память о войне, участником которой я был.

Еще раз извините, господа», — с грустной улыбкой закончил свое выступление Зиновий Ефимович.

В зале все замерли, а через несколько секунд раздались аплодисменты, которые конечно же не входили в ритуал подобных заседаний. Гердт уже серьезно болел, но в тот день выглядел неплохо. Это была моя последняя встреча с ним.

Впрочем, не совсем так — еще одна беседа с ним состоялась у меня по телефону незадолго до Дня Победы. В одной из газет меня попросили подготовить материал под условным названием «День последний — день первый». Я должен был собрать воспоминания знакомых мне писателей, поэтов, художников, актеров о том, каким запомнился им день 9 мая 1945 года. Материал этот я так и не сделал, но своими воспоминаниями об этом дне со мной поделились художник Борис Ефимов, журналист Давид Ортенберг, беседовал я и с Лидией Борисовной Либединской, и с Ириной Ильиничной Эренбург. Решил поговорить и с Гердтом. Я знал, что здоровье его в ту пору было неважным. Позвонив Татьяне Александровне, осторожно поинтересовался, нельзя ли напроситься к Зиновию Ефимовичу на встречу. Она попросила меня перезвонить вечером.

Я позвонил после восьми, Гердт сам подошел к телефону, голос его был бодрым, можно сказать, оптимистичным. Выяснилось, что на заданную мне тему он уже беседовал с корреспондентом какой-то из газет и ничего нового мне сказать не сможет, да и не так это интересно. Неожиданно Зиновий Ефимович спросил меня, давно ли я читал «Кзаков» Толстого. «Давно», — ответил я. И вдруг, не знаю Уж, по памяти или из книги, Гердт начал читать мне отрывки из этой повести. В голосе его не чувствовалось никакой усталости, болезни — тем более. Но было мне как-то не по себе, что больной, пожилой актер столь усердно дарит свое искусство единственному слушателю, да еще по телефону. Несколько раз он прерывал свое чтение словами: «Послушайте, как написано! Это Библия! Так писать мог только истинный пророк». Не помню, сколько времени длилось чтение, но после какого-то отрывка Зиновий Ефимович произнес свою, ставшую частой в наших разговорах фразу: «Обязательно свидимся. Какие наши годы!», попрощался со мной, и я уже не помню, успел ли я попрощаться с ним. А может, и лучше, если не попрощался...

Глава шестая В ТЕАТРЕ ОБРАЗЦОВА

Кукольным надо родиться.

Зиновий Гердт

Когда-то Исай Константинович Кузнецов написал: «У дружбы, как у всякого чувства, как и у любви, есть свои сроки. Но в отличие от любви они определяются не самим чувством, а чем-то иным. Наша дружба не то чтобы оборвалась, но сделалась больше памятью о себе, чем самой дружбой, когда наши пути привели нас в разное окружение: его — в театр Образцова, на эстраду, меня — в драматургию».

Рассказ о творческом пути Зиновия Гердта невозможен без упоминания о его работе в Центральном театре кукол. Принято считать, что в кукольный театр Гердт попал только после встречи с Сергеем Образцовым, то есть уже в послевоенное время. Это не совсем так. Еще в 1937 году он работал в театре кукол при московском Дворце пионеров, работал с упоением, с интересом, сочетая эту работу с работой в студии Арбузова и Плучека. Потом такое совмещение стало невозможным — студия отнимала у молодого актера слишком много времени и сил. Но после войны Гердт вернулся в кукольный театр и отдал ему — ни много ни мало — 37 лет жизни. Не вызывает сомнения, что годы, отданные театру Образцова, оказали большое влияние на личность и творческую судьбу Гердта, и уход его из театра — скорее это был уход от Образцова, — не был случайным. Другое дело, что в результате появился совсем «новый» Гердт, но об этом позже.

Трудно себе представить, но до войны, в молодые годы, Гердт был блестящим танцором. «Знаете, как Гердт танцевал до войны? — спрашивал читателей Михаил Львовский. — Это повторялось почти каждый вечер в здании на улице Воровского, где теперь Театр киноактера, а прежде просто крутили кино. Там между сеансами играл джаз. У Гердта была постоянная партнерша. И когда они выходили на блестящий паркет, все пары останавливались и смотрели, как невысокий юноша такое выделял стилем, который назывался “линдой”, что профессионалы завидовали. Потом, когда стихал джаз, раздавались восторженные аплодисменты. А почему? Гердт был удивительно пластичен. Один из его учителей в Арбузовской студии Валентин Плучек, бывший мейерхольдовский артист,

постиг все премудрости биомеханики. Кроме того, он танцевал степ, пусть не так, как Фред Астер, но очень лихо. Всё это перешло к Гердту, который всегда умел учиться». Сам Гердт вспоминал: «Под патефон мы могли танцевать до утра. Обожали западные танцы. В нынешнем кинотеатре “Ударник” был потрясающий танцевальный зал. Румба была моим коронным танцем. Я брал призы, считался одним из лучших танцоров». После ранения одна его нога стала короче другой на восемь сантиметров — какие уж тут танцы! Хромота сделалась частью имиджа артиста. Без нее Гердт уже вроде бы и не Гердт.

Позже он вспоминал: «После ранения я был нехорошо разбит, лежал в госпитале в Новосибирске и понимал, что с театром покончено. Одиннадцать операций. И хромота на всю жизнь. Сначала для меня это было страшной трагедией. Мне казалось, что актер не может быть хромым, а я не мог жить без театра. Но я как-то увидел выступление перед ранеными кукольной труппы Образцова. Причем обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер... Я в лучшем случае актер на хромые роли, но я зол, зубаст и черств. Думаю, что эти мои новые качества мне пригодятся. Как только повеснеет — уйду из больницы и буду драться!»

Сергей Владимирович Образцов, с детства увлеченный кукольным театром, сделал из этого простонародного ярмарочного развлечения высокое искусство. В 1931 году он основал в Москве лучший в стране и в мире театр кукол, которым руководил до конца жизни — более шестидесяти лет. Билеты в этот театр всегда раскупались с боем — тем более что при нем работал еще и роскошный музей кукол всех времен и народов, собранных Образцовым во время гастролей в разных странах мира. Его спектакли привлекали не только детей, но и взрослых, ведь в них вкладывались и серьезная драматургия, и скрупулезная работа над внешностью и голосом персонажей, вплоть до какой-нибудь кошки или птички. На этом настаивал Образцов, который обожал животных — подбирал на улицах Москвы бездомных кошек и собак, до старости гонял голубей, а однажды даже привез из Америки двух живых крокодилчиков, подаренных сыном Шаляпина.

Вскоре после окончания войны, еще на костылях, Зиновий Ефимович пришел к Сергею Владимировичу на собеседование. Образцов попросил его что-нибудь почитать наизусть, и Гердт задумался, с чего бы начать. «Вы же что-то учили, готовились к сегодняшнему просмотру?» — спросил его Образцов, еще не знавший, что Зиновий Ефимович помнил наизусть несметное количество стихотворений. Гердт очень долго читал стихи,

решил, что будет читать, пока не остановят, а его все просили: «Читай, читай...» Он, казалось, сам уже забыл, что безостановочно декламирует... Однажды из беседы с сыном Гердта я услышал от Всеволода Зиновьевича такую фразу: «Отец знал наизусть колоссальное количество стихов, как компьютер: раз и пошло!» Тут стоит отметить, что сразу после зачисления в театр Гердт пошел в бухгалтерию и написал заявление: «Прошу пересылать 100 % моей зарплаты на имя сына — Новикова Всеволода Зиновьевича».

С этого же времени Гердт стал выступать на эстраде. Он вспоминал: «С увлечения поэзией и началось мое увлечение сценой... Если хотите, стихи — это почти главное мое занятие, способ существования». Зиновий Ефимович никогда не причислял себя к мастерам «разговорного жанра», не считал чтение стихов со сцены своей специальностью: «Я не мастер художественного слова. Читаю только по поводу того, о чем говорю». Он читал только «свое» избранное, то есть им составленное. Ему всегда хотелось приобщить зрителей, слушателей к великой русской поэзии. Он нередко становился для них первооткрывателем не только отдельных стихотворений, но и целых поэтических имен.

Раз речь пошла о театре Образцова, расскажем о некоторых его спектаклях с участием Гердта. Спектакль «Божественная комедия» был поставлен в 1961 году (премьера состоялась 29 марта). И хотя название спектакля совпадает с названием великой книги Данте, кроме названия ничего общего между ними нет. Сценарий написал известный драматург Исидор Шток специально для театра кукол Образцова. Принадлежит ли идея Образцову или Штоку? А может быть, замечательному актеру и режиссеру-кукольнику Семену Соломоновичу Самодуру? В 1933 году, когда Самодур пришел в театр Образцова, Гердт еще был «фэзэушником» и уж конечно о кукольном театре не думал. Между тем в спектакле «Божественная комедия» роль у него была весьма заметная — Адам. Предлогом для постановки спектакля стала хрущевская кампания по борьбе с религией, но цель у его создателей была другой — напомнить зрителям бессмертные библейские истины, переосмыслить их в духе гуманизма времен «оттепели». Спектакль, ставший весьма популярным, органично вписался в ряд таких новаторских произведений, как фильмы М. Хуциева «Застава Ильича» и Г. Данелии «Я шагаю по Москве», повесть Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!».

Итак, Гердт — Адам. По Ветхому Завету, да и по Корану — первый человек. Если бы не грехопадение, Адам так и остался бы бессмертным. Но, наверное, сам Бог решил иначе, и неудивительно, что в основу

«Божественной комедии», поставленной в театре Образцова, легла книга французского художника-карикатуриста Жана Эффеля, известная как антирелигиозная, но пользующаяся неизменным успехом у читателей разных стран. Художник, а за ним и постановщики спектакля изобразили своих персонажей с симпатией и мягким юмором. Всевышний в их толковании — строгий, но отходчивый отец, Адам — вполне современный молодой человек, наивный и непослушный, стремящийся жить своим умом, без оглядки на авторитеты. Именно таким его «сыграл» Гердт. Артист театра Роберт Ляпидевский вспоминал: «Его Адам был не просто юношей, первым мужчиной на земле. Гердтовский Адам был человеком, которому безумно интересно жить, познавать себя и окружающий мир. Познавать Еву, искушение через нее... Эта роль у Гердта получилась как нить. Как путь».

Игра в кукольном театре требовала от него, пожалуй, больше усилий, чем от обычного актера. Ведь нужно было постоянно двигать на поднятых руках довольно тяжелую куклу и одновременно говорить за нее. Гердт, виртуозный мастер перевоплощения, блестяще воспроизводил оттенки голоса разных персонажей — многие зрители не верили, что за них разговаривает один и тот же артист. Помогло ему и умение танцевать: отбивая про себя ритм, он заставлял куклу выполнять сложные па, которые не мог больше делать сам...

«Божественная комедия» — один из самых знаменитых спектаклей кукольного театра, в которых участвовал Зиновий Ефимович. А первым спектаклем был «Маугли», где ему еще не доверили собственную куклу — он читал текст от автора. Вскоре после этого, в 1946 году, в театре был поставлен «Необыкновенный концерт», спектакль, ставший позже эпохальным и для театра Образцова, и для самого Гердта. Вначале он назывался «Обыкновенный концерт» и пародировал эстрадные штампы тех лет под хохот публики. Начальство Москонцерта, прямо ответственное за убогость эстрадного репертуара, забеспокоилось. Через три года спектакль запретили за «очернительство советской эстрады». После этого в театре была поставлена сказка «По щучьему велению» — Гердт сыграл там роли Глашатая, Воеводы и Медведя. В следующем, 1947 году в театре Образцова поставили «Ночь перед Рождеством», где Гердт снова сыграл несколько ролей: Старого черта, казака Чуба, Остапа, князя Потемкина, Запорожца, — а также патристический спектакль «С южных гор до северных морей» (здесь Гердт выступил в роли чтеца). Не остались без внимания печати и спектакли «Два ноль в нашу пользу» Полякова (1950) и «Мой, только мой» (1955).

Какие только роли не исполнял Гердт! В сказке «Волшебная лампа Аладдина» был и Визирем, и Аладдином. В «Чертовой мельнице» по пьесе того же Исидора Штока он исполнил роли Черта первого разряда и Люциуса. Пьеса «Чертова мельница» была написана и поставлена в 1953 году. Уже закончилось «дело врачей», но «оттепель» еще не наступила. Вместе с Сергеем Владимировичем на спектакль частенько захаживал и Симон Давидович Дрейден, вернувшийся из сталинской ссылки. Из воспоминаний Корнея Ивановича Чуковского: «А когда Дрейден вернулся и появился в театре, Дембо (речь идет о человеке, донесшем на Дрейдена. — М. Г.) подошел к нему: “Здравствуй, Симочка, поздравляю!” Дрейден прошел мимо него, даже не взглянув на него».

Спектакль «Чертова мельница» сблизил Гердта и Дрейдена. Этот же спектакль сдружил Гердта с Семеном Самодуром, участвовавшим в постановке спектакля. Горячо поддержал «Образцова и компанию» Николай Константинович Черкасов, народный артист СССР. Он, как и другие мастера сцены, увидел в новом, «оттепельном» театре Образцова незаурядное явление искусства. Поддержка коллег и внимание публики позволили руководителям театра успешнее обходить цензурные рифы. В 1968 году был возрожден под новым названием «Необыкновенный концерт». Первый раз его показали в Доме писателей, и сразу же успех был ошеломляющий — от смеха зрители буквально падали со стульев. Очень скоро состоялся «экзамен» в Ленинграде, и художественный руководитель Театра комедии Николай Акимов прислал Образцову телеграмму: «Поздравляю и подло завидую».

Новый спектакль, без всякого преувеличения, держался на Гердте, который снова исполнял несколько ролей, в том числе главную — конференсье Эдуарда Апломбова. Специально для нее писатель Алексей Бонди (брат знаменитого пушкиниста) сочинил остроумные монологи, которые тут же растащили на цитаты. До сих пор, уже не помня, откуда взялись эти фразы, мы повторяем: «У рояля — то же, что и раньше», «Шахерезада Степановна! — Я готова», «Страдания не в смысле “я страдала, страданула”, а в смысле “лямур-тужур-бонжур”». Персонаж Гердта с его непробиваемой тупостью и хамством вызывал не только веселый смех — многие зрители не без оснований видели в нем пародию на советских чиновников от культуры, берущихся руководить тем, о чем они не имели и понятия.

Зиновий Ефимович однажды в беседе со мной заметил: «Апломбов был сыгран мною пять с половиной тысяч раз. Вы можете представить, как это мне осточертело!» «Необыкновенный концерт» попал в Книгу рекордов

Гиннеса как самый долговечный спектакль в истории. В марте 1975 года, когда его показали «всего» пять тысяч раз, Образцов сказал корреспонденту газеты «Вечерняя Москва»: «Из сатирического представления, показанного в дни войны, и родился наш “Необыкновенный концерт”».

После войны мы решили работать над созданием сатирического спектакля. Среди уже подготовленных номеров собрали “Чечетку” — она единственная из прежнего представления вошла в “Необыкновенный концерт”. Направление же сатирического удара, естественно, стало другое: решили высмеять банальность, существующую на эстраде... Для меня “Необыкновенный концерт” — своеобразное кредо театра в смысле веселья, сатиры, доходчивости».

В тот же день Зиновий Гердт сказал в своем интервью: «“Необыкновенный концерт” — спектакль действительно необыкновенный. За 30 лет я переиграл в нем все мужские роли и даже кое-какие женские, например, старую цыганку, которую исполняю до сих пор. И каждый раз перед этим спектаклем появляется особенное, возвышенное настроение. Не бывает так, чтобы сегодняшний “Концерт” был бы похож на вчерашний или позавчерашний; обязательно что-то меняю, пусть даже незаметно для публики и партнеров».

Так как в основе представления лежала не пьеса с единым сюжетом, а отдельные номера, именно с «Необыкновенным концертом» театру оказалось удобнее всего выезжать на гастроли. Уже к 1975 году спектакль объехал 23 страны, был показан в 110 городах в СССР и в 109 — за границей. «В зарубежных гастрольных поездках роль Конферансье я всегда играю на языке народа той страны, в которой мы выступаем», — говорил Гердт. О том, как это удается, он рассказывал мне. Обычно на гастроли в чужую страну он выезжал на четыре дня раньше других актеров. В этой новой стране находил журналиста или драматурга, владеющего русским языком и конечно же языком страны, в которую он приехал. Вместе с партнером проходил текст с начала до конца, «вызубривал» его... а потом так же «фундаментально» забывал выученное. О том же рассказывала и Татьяна Александровна, жена Зиновия Ефимовича.

*

Много интересного рассказал о работе Гердта в Центральном театре кукол актер Леонид Хаит. Он оказался в театре Образцова в 1967 году, с

Гердтом же был знаком давно, так как Зиновий Ефимович неоднократно бывал в Харькове, где работал Хаит. Леонид Абрамович рассказал и о разрыве между Образцовым и Гердтом, в котором немалую роль сыграли их непростые характеры. Гердт вспоминал: «Образцов был ужасно ревнивый, до смешного. Если мне много аплодировали (за границей я всегда играл на языке — попугайское дело выучить роль на языке), он не мог этого вынести и выбегал на сцену, чтобы я недолго стоял перед аплодисментами».

По мнению Леонида Хаита, то, что у Гердта начались нелады в театре Образцова, на время совершенно выбило его из колеи. Тем не менее он нашел в себе силы и решительно покончил с этим делом. У Образцова он уже не имел возможности проявлять себя так, как ему хотелось, он уже перерос рамки этого вида искусства. Условность кукольного театра, его формы и границы давно уже сковывали Гердта, поскольку он был человеком большого артистизма, полета мысли и фантазии. Его больше привлекало кино, где он мог играть сам, а не прятаться за рампой.

Хаит поведал и о другой причине ссоры: «Леля (актриса театра Елена Сипавина. — М. Г.) была человеком малозаметным, играла роли второстепенные, хоть и пользовалась репутацией хорошего кукловода. Образцов был к ней равнодушен и как бы не замечал ее. Между Гердтом и Лелей существовали какие-то свои отношения. Особенно они проявлялись на гастролях. Все свободное время они проводили втроем: Зиновий, Леля и Володя (Владимир Кусов, художник театра кукол. — М. Г.), причем Володя всегда молчал, а Леля и Гердт вели оживленные беседы. Я, конечно, не знаю, что там у них было, но однажды за кулисами художник Кусов дал Гердту пощечину. Потом их отношения восстановились. Внезапно Леля умерла, если мне не изменяет память, от рака. После похорон в театре были устроены поминки. Подвыпив, Гердт с рюмкой в руках поднялся из-за стола.

— Сергей Владимирович! — обратился Гердт к Образцову. — Я обвиняю вас в смерти Лели. Это вы своим бездушием, своим безразличием ускорили ее смерть. Вы раздавали звания и награды, вы повышали зарплату всем коленапоклоненным, а тихую, талантливую Лелю не замечали. Не видели и не хотели видеть ее страданий, ее отчаянья перед вашей несправедливостью...

Услышав эту тираду Гердта, Образцов поднялся и ушел из театра. На следующий день Сергей Владимирович пошел к министру культуры РСФСР Мелентьеву: «Чаша моего терпения переполнена. Или он, или я. В одном театре с Гердтом я работать не могу»».

Вскоре Мелентьев пригласил к себе Гердта и уговорил его подать заявление об уходе. «Так закончилось многолетнее пребывание Гердта в театре кукол», — подвел итог Хаит. Это случилось в конце 1982 года.

Об уходе Гердта из театра Образцова рассказывали и по-другому. Но, так или иначе, увольнение человека из театра, в котором он прослужил почти 40 лет — случай нечастый, требующий объяснения причин.

Вот воспоминания по этому поводу актера театра Роберта Ляпидевского, сына известного героя-летчика: «Уже задолго до своего изгнания Гердт знал, чувствовал, что его ждет, чем все закончится для него... Он даже иронизировал по этому поводу и вслух иногда размышлял: кто будет руководить группой актеров (в театре существовала система групп), когда он уйдет... А когда большинство актеров вникли в суть противостояния Гердта и Образцова, в группе моментально началась анархия. Гердт был стержнем своей группы, очень строгим и требовательным при всей своей немногословности, и актеры остерегались делать ошибки при нем. Все как бы внутренне строилось. Он был “культурой” группы во всех отношениях, и все боялись сфальшивить, никто не выкаблучивался, не выпячивался. Были люди, которые презирали Гердта и по углам шушукались, но при нем никто не открывал рта. Злопыхатели Гердта боялись, потому что он мог им ответить. Боялись его как по-настоящему талантливого человека. А врагов у Гердта было предостаточно...»

После ухода из театра Гердт в сердцах произнес: «Не говорите мне о куклах: я о них слышать не могу!» Между тем незадолго до этого он говорил: «Я этим занимался серьезно. Я за всю жизнь ни разу не опоздал на репетицию, не выпил перед спектаклем и готов был убить кого-нибудь, если от кого-нибудь пахнет спиртным, я просто ненавидел этого человека и всегда очень любил играть, скажем, “Необыкновенный концерт”».

Так ли это? Приведем еще отрывок из воспоминаний Ляпидевского: «Когда театр был на гастролях в Баку, стояла дикая жара, сушь несусветная, дули песчаные ветры... И вот однажды до спектакля актеров кто-то пригласил в гости. Там они пирнули как следует (все, в том числе и Зиновий Ефимович, были молодые), пили вкусное вино, произносили тосты... Но жара сделала свое дело. Гердта развезло так, что он буквально лыка не вязал. А спектакль — вот-вот. До начала что-то около сорока минут. Администрация в панике!..

Гердта раздели, посадили на стул во дворе и начали ведрами лить на него ледяную воду. Жаль, что никто не додумался сделать фотографии!.. Просто все были в такой растерянности, никто не ожидал, что Зяма может

так напиться... Он пришел в себя и вот в этом страшном состоянии искусственного отрезвления от начала до конца сыграл спектакль — гениально!..

Что бы ни случилось — какая-то неприятность, какая-то неполадка, что-то не так с куклой, дурное настроение, простуда, температура, вино или грузинская чача — неважно что, — Гердт всегда играл свой спектакль на высшем уровне. Таких актеров — единицы».

Для всех, кто любил и знал театр кукол Образцова, стало очевидно, что с уходом Зиновия Ефимовича что-то в коллективе изменилось. Снова из воспоминаний Леонида Хаита: «За последние годы внутренние помещения театра кукол сильно изменились. Исчез зимний сад, на деревьях которого висели золотые клетки с певчими птицами. Куда-то исчезла антикварная мебель, купленная в Ленинграде еще в 1937 году в комиссионных магазинах, сделанная из красного дерева и карельской березы.

Упразднен живой уголок, и нет больше “рыбкиной мамы”».

По мнению Хаита, в театре ощущался какой-то «запах тления». «Показанный в день открытия фестиваля спектакль “Великий пересмешник”, посвященный столетию Образцова, окончательно свидетельствовал о смерти прежнего театра. Признаки умирания были заметны еще в последние годы моей в нем работы. Постепенно уходили в мир иной его основатели: умер Семен Соломонович Самодур, сопостановщик Образцова в “Необыкновенном концерте”, его верный помощник, умер Евгений Вениаминович Сперанский — лучший кукольник театра, драматург, нравственный пример для всех. Ушел из коллектива Зиновий Ефимович Гердт — самый популярный у зрителя актер театра. Сперанский проработал в театре со дня основания. Самодур — больше пятидесяти лет. Гердт отдал этому театру больше 35 лет жизни».

Еще Хаит рассказывал: «Я встретился с Зиновием Ефимовичем Гердтом в Израиле, я сказал ему, что часто вспоминаю знаменитый стол, который стоял в его доме. Стол этот поражал воображение даже в собранном состоянии — под ним просматривалось бесконечное количество ножек. Когда стол раздвигали, то ножки можно было посчитать: их было сорок. Стол так и назывался — сороконожка. За ним одновременно могло усестись сорок человек, не меньше. Дом Гердта был всегда очень гостеприимным, стол раздвигался постоянно, и если еще учесть, что хозяин был королем застолья, то понятно, что забыть проведенное за ним время невозможно.

Выслушав мои воспоминания, Гердт сказал: “Вы знаете, стол стоит и сейчас, но каждый раз, когда мы его раздвигаем, я вспоминаю, что на этом

месте сидел тот-то, на этом тот-то, и праздник покрывается непреодолимой грустью”.

Мы познакомились в 1967 году, когда я впервые переступил порог театра Образцова. Как-то очень быстро подружились. Он больше других радовал за мой приход в театр, как постоянного режиссера. Сохранили эти отношения, и когда я и он покинули этот театр. Гердт постоянно посещал почти все мои премьеры, был всегда очень ко мне дружески расположен. Однажды он побывал в Харькове с сольным концертом и получил записку от зрителей с просьбой рассказать обо мне, бывшем харьковчанине. Потом мне рассказывали, что он произнес в мой адрес панегирик...»

Из воспоминаний Роберта Ляпидевского: «Зиновий Ефимович жил тогда в сердце Москвы — в Столешниковом переулке, где можно было достать все что угодно и получить услугу любого характера. Иначе этот переулок называли “Спекулешников”. Во дворах и подвалах Столешникова были сосредоточены металлоремонтные и ювелирные мастерские, официальные и подпольные, скорняжные ателье и так далее. Клиентура была своя, постоянная. “Фейсконтроль” мгновенно вычислял чужака, спасти которого могли только магические фамилии и пароли — тогда перед пришельцем раскрывались потайные двери. Если таковыми незнакомец не обладал, он уходил ни с чем. Туда приходили все, начиная с охраны Берии и Сталина и заканчивая самыми матерыми ворами. И потом, в Столешникове был знаменитый винный магазин, где были все вина. Какие захочешь, на выбор. А рядом была не менее знаменитая табачная лавка, где можно было купить даже настоящие американские сигареты. И вот рядом с этой табачной лавочкой располагался подъезд старого дома (сейчас его отреставрировали). А в одной из комнат большой коммунальной квартиры этого дома, на втором этаже, жил Гердт.

Я нажал нужную кнопку звонка, и дверь мне открыл сам Зиновий Ефимович. Говорят, что поврежденная нога придает человеку инвалидный вид. Гердт умел ходить на своей ноге так, что она его несла. И была в этом какая-то потрясающая неординарность! Руки чуть-чуть назад, грудь вперед, белейший воротничок, отличный галстук... “Зиновий Ефимович, добрый день, я от Марика Красовецкого. Зовут меня Роберт Ляпидевский...” — “А-а-а!.. Да-да. Проходи”. Я поздоровался с его женой, она мне незамедлительно улыбнулась. Мне стало вдруг ужасно хорошо и приятно.

Гердт предложил мне стихотворение Михаила Светлова “Итальянец”. Времени на подготовку практически не было, и оттого я еще больше волновался. В результате стихотворение на экзамене я прочел, наверное, излишне патетично, забыл несколько строк и целый час прождал

обсуждения моей кандидатуры. Потом вышел сам Образцов и объявил: “Мы вас принимаем. Зарплата — шестьдесят рублей в месяц. Испытательный срок — три месяца. Работу у нас в театре вы начинаете завтра. Вы согласны?” Я был счастлив.

С того самого момента, когда мы встретились с Зиновием Ефимовичем, я влюбился в него. Кумиров и идиолов я никогда не имел и терпеть не могу этого, но в тот самый момент я увидел... Проводника. Проводника в своей будущей профессии. Были и другие замечательные, потрясающие актеры в театре Образцова, но Гердт... На него ходили в театр. Спрашивали билеты на спектакли с его участием.

Бог дал Зиновию Ефимовичу замечательный тембр. Чуть хрипловатый, мягкий, баритональный, бархатный тенор. Он мог обворожить любую девушку. Он был потрясающий эрудит! Как никто знал поэзию и читал ее божественно. Он мог просто заговорить человека стихами. Он мог начать читать стихи в любой ситуации. Он был моим учителем, моим сенсеем, притом что он никогда не рассуждал о профессии перед коллегами или перед молодежью, типа “искусство — это, знаете ли...” или “профессия актера — такая сложная штука...”. И не был занудой. Если кто-то его хотел о чем-то спросить, то подходил к нему, и разговор проходил сугубо приватно. А Гердт был немногословен и лаконичен. “Не жми”. “Здесь у тебя недолет”. “А вот здесь немножко поиграй с текстом”. Вот его фразы, его “уроки”. Актеры впитывали все, что давал, точнее дарил, Гердт: знания, эксцентричный артистизм, культуру речи. Он всегда был готов куда-то бежать и что-то делать. Лень для Гердта была понятием незнакомым и неизвестным. Он был настоящим учителем, хотя никогда не ставил себе задачи кого-то чему-то научить. Он подходил и говорил буквально две-три фразы: “Попробуйте так”, “А что если вот так?” — и все вставало на свои места.

На мой взгляд, мастерство актера заключается в том, что мастер всегда знает свои границы. Гердт никогда в жизни, и уж тем более в своих ролях, не позволял себе больше, чем было нужно. Он всегда существовал мастерски точно и никогда не выходил за пределы органичности, никогда не наигрывал, никогда не добавлял отсебятины, что, к сожалению, очень часто случается с признанными талантами!.. Есть актеры, которые очень хорошо знают, что они артистичны, и начинают давить на все педали этой артистичности — и вот тогда говорят “артист играет”, а иной раз и “заигрывается”. Это плохо. Очень плохо...»

«Когда я поступил в театр кукол Образцова, у меня было ощущение, что я попал в необыкновенное общество. Все улыбаются, здороваются,

очень трогательно заботятся о молодежи. Мне казалось, что я попал в настоящий храм искусства. Сейчас этого храма, к сожалению, уже нет, — вспоминает Леонид Хаит. — Мы были младше Зиновия Ефимовича, но он был нашим другом и валял дурака вместе с нами. Он не требовал никакой дистанции по отношению к себе».

Зиновий Гердт считал и неоднократно говорил о том, что цель искусства — вызвать у зрителей сострадание, а значит, мысль «жалость унижительна» глубоко ошибочна. Зиновий Ефимович был убежден, что миром правит жалость. Из заметок Гердта: «Актерский труд добавляет муки. Очень мало людей из нашего цеха страдает от своего несовершенства — в основном это самодовольные люди, которые не стесняются говорить: “Ты видел, как я замечательно сыграл эту роль?”». Еще Гердт отмечал: «Раздражает какая-то эпидемия комплекса собственной полноценности в искусстве. Шкалу оценок надо составлять с умом и тактом и, прежде всего, трезво оценивать себя».

Гердт, хорошо знавший художника Ореста Георгиевича Верейского, отмечал, что ни разу не видел в его доме (а жили они рядом в Пахре) ни одной его картины на стене: «Не мог он вывесить себя, для него это было невозможно... И я, в свою очередь, не могу себе представить, чтобы я назвал собственное выступление “творческим вечером”. Физически не в состоянии выговорить фразу: “мое творчество”».

Это же получится, что я — Творец! Актерство — ремесло...»

Зиновий Ефимович никогда не ставил себя слишком высоко — даже для себя, не то что для человечества: «Никогда не думал о своей избранности или исключительности. Я просто привык выслушивать комплименты про себя, зная: “Давай, болтай, деточка. Я-то знаю, чего стою!”». В одной из книг он вычитал фразу: «Вопросы — признак молодости, ответы — признак старости». Но говорил про себя: «Я не потерял интерес к жизни, не разучился задавать вопросы. Меня очень занимает постижение художественной истины».

И снова Хаит: «Гердт был абсолютно доступен, но не любил панибратства. Любил шутить, балагурить, но когда перегибали палку, он сразу же делал так, что человек сам осекался. Сколько раз мы занимали у него деньги!.. Это было святое — получить зарплату (шестьдесят рублей, с вычетом из них всех налогов — за бездетность и прочих) и тут же занять у кого-нибудь еще трояк, пятерочку или десятку. Мы были молоды, спиртное стоило дешево, мы брали литр и ехали к кому-то в гости, где уже была готова какая-то закуска. Смех, анекдоты, танцы, философские разговоры... Гердт, едва уловив в глазах кого-нибудь из нас еще только мысль о том,

чтобы попросить взаймы, всегда сразу же спрашивал: “Сколько и до какого?” И всегда был очень щедр. Никогда не отказывал.

Он любил женщин. Эта страсть присуща всем нормальным мужчинам, но в нем она существовала в каком-то другом коэффициенте, в другом эквиваленте. Он был элегантен и даже экстравагантен по отношению к женщинам и абсолютно бескорыстен. Больше всего он ценил в женщине именно женщину, очаровательное создание, несмотря ни на возраст, ни на ее жизненные обстоятельства, ни на ее недостатки. В любой женщине он видел, прежде всего, хрупкое создание, которое нужно охранять и оберегать, ухаживать как за цветком. Внешность ни о чем ему не говорила. “Женщина, — говорил нам Зиновий Ефимович, — это не мы с вами. Это другое создание. Она несравненно выше мужчины”...»

Однажды с Гердтом случилась смешная история, о которой тоже рассказал Хаит: «У нас в театре работала администратор Цецилия Михайловна Вортман. Это была всеобщая любимица. Мы ее звали Цилей. Добрее человека я просто не встречал. Она была добрая до абсурда. Она была уже в годах, но очень любила себя, холила, была полненькой и невероятно обаятельной. И вот однажды мы приехали на гастроли в Ярославль. А надо сказать, Зиновий Ефимович любил женщин приобнять, поцеловать, нежно взять за талию... Это у нас в театре было — как зажечь спичку!.. Никто не стеснялся, все любили друг друга как братья и сестры. Мы всегда целовались друг с другом, когда встречались, когда прощались...

Наша Цецилия Михайловна как администратор всегда выезжала вперед труппы, подготавливала гостиничные номера по заказанному списку и так далее.

И вот наш автобус подъезжает к гостинице. Мы высаживаемся, разгружаем чемоданы, кофры и через стеклянные стены гостиницы видим Цилю, оживленно беседующую у окошечка администратора. Мы ее видим, а она нас еще нет. Гердт, двинувшись вперед, вдруг оборачивается к нам, следующим за ним, подает знак, чтобы мы все остановились и заткнулись. Подкрадывается сзади к Циле и хватает ее обеими руками за очень объемные ягодички. Циля обычно на такие невинные вещи реагировала очень спокойно, типа “ой, кто это?”. Здесь к нам лицом поворачивается незнакомая женщина (как оказалось, профессор-химик, приехавшая на какой-то симпозиум) и... Прежде чем она успела что-то вымолвить, Гердт трагически схватился за голову, потом замахал руками: “Боже мой!!! Господи!.. Простите меня, умоляю!.. Какой кошмар!” Мы все расхохотались, а дама, как ни в чем не бывало, говорит Гердту: “Ну что

такого? Я понимаю, просто ошиблись жопой!” Гердт, принеся тысячу извинений, объяснил даме, что она просто очень похожа на “нашу Цилю”...»

Когда Цецилии Михайловне поведали эту историю, она, посмеявшись, упрекала Гердта: «Ну как ты мог перепутать?!»

А вот что мне рассказала заведующая литературной частью театра Образцова, главный хранитель музея кукол Наталья Андреевна Кострова: «Он был и человек и актер вместе, то есть его темперамент, его натура актерская до мозга костей, она вот еще как проявлялась. Когда он работал в “Необыкновенном концерте”, когда конференсье играл, я вообще очень любила смотреть этот спектакль за кулисами, как работают актеры, как слаженно, как удивительно точно, виртуозно и легко — так оно ощущалось. Когда Зиновий Ефимович работал, я просто наблюдала за каждым его движением, и бывали такие спектакли, когда Гердт становился непохожим на самого себя.

Он работал сосредоточенно, легко, азартно, играючи, все было играючи. Но иногда бывало так, что я где-то просто его не узнавала, была в полном восхищении, не понимая, что произошло. Почему? Он вот сейчас играет, как всегда, легко, творчески удивительный образ конференсье. В какие-то моменты в спектакле он был неузнаваем, он весь светился, он был красив, как бог, и вот с этой его припрыжкой, у него одна нога была короче, это был просто танец рукой (а конференсье, между прочим — кукла тяжелая), но он просто летал и у него из его нутра слова, фразы, игра с публикой, игра с другими персонажами — она была просто восхитительно прекрасна, восхитительно азартна, восхитительно дурашлива. Прекрасный актер, и конференсье у него был насыщенный, энергичный, блестящий.

Оказывается, за кулисами, кроме меня, к которой, естественно, все привыкли, находилась какая-то женщина, не из театра. Может быть, она была корреспондент, журналист, может быть, чья-то знакомая, а может быть, специально пришла брать интервью у Гердта. И он-то, оказывается, блистал и для нее тоже! И эта женщина, открыв рот, глаза сияют, смотрит на него тоже как просто на какое-то божественное произведение. Вот так он искрил еще больше, еще сильнее, когда ему надо было еще и покорить женщину. И вот это был действительно восторг! Актер ведь и любимец женщин, и любитель».

И еще из рассказов Ляпидевского: «Гердт на дух не переносил вранья, нечестности. Сплетни, косые взгляды — к этому он был жесток. Всегда защищал слабых, вплоть до скандала. Я помню, как мы должны были

выезжать куда-то за границу. И вдруг в списке не оказалось фамилии человека, который имеет в спектакле свою партию, который всегда делал свое дело честно и добросовестно, который раньше выезжал с нами без каких-либо проблем уже много лет. Оказалось, что его заменили на очень посредственного актера, которого кому-то надо было “вывезти”. Гердт пошел к Образцову, выложил на стол свой загранпаспорт и сказал: “Я никуда не поеду, если не поедет вот этот человек”. Сергей Владимирович, конечно, не смог никуда деться. Справедливость была восстановлена, и мы все были очень довольны такой принципиальностью. Эта была грандиозная защита. Конечно, Сергей Владимирович Образцов по своему характеру не мог терпеть таких акций Гердта. Он понимал их по-своему, и в восемьдесят втором году Гердта вызвали в Министерство культуры. Там, в кабинете, тогдашний министр пересказал Зиновию Ефимовичу ультиматум Образцова: “Или Гердт, или я”».

Как уже говорилось, к тому времени Гердт и сам созрел для ухода из театра Образцова. Он вспоминал: «Но как ни интересно мне было работать в кукольном театре, я всегда мечтал о драматической сцене, хотел сыграть трагическую роль. Меня угнетало, что во мне видели комика, а я по натуре совсем другой человек. Моя самая любимая роль — король Лир, которого я сыграл за кадром в фильме Козинцева. А потом Валерий Фокин пригласил меня в Театр им. Ермоловой. И это был новый виток судьбы, которая всегда ко мне благоволила... Потом была роль в “Костюмере”, где Валерий был главным режиссером. Он привез пьесу, ее перевела Померанцева, и мы убрали одну линию: костюмер любит актера чувственно. Мне это было неинтересно. Мне было интересно другое — как человек любит талант, служит таланту. Партнером моим был Всеволод Якут, замечательный актер. Мы были дружны лет сорок до этого. Но только по линии выпивки».

*

И еще малоизвестная страница из жизни Гердта: летом 1946 года художественная мастерская ЦДРИ выпустила брошюру «Как показывать фокусы». Можно было бы написать о ней в главе «Гердт о профессии учителя»: в ней не только рекомендации молодым актерам, но и поучения, весьма полезные и нужные. Мы все же решили написать об этой брошюре в главе о кукольном театре, ибо написана она именно в те дни, когда Гердт перешел в театр Образцова, написана потому, что Зиновию Ефимовичу хотелось передать свои мысли и умения будущим актерам. Да и вообще, он

любил не получать, а именно давать.

Вот несколько строк из этой брошюры: «Кроме необходимых объяснений “секретов”, в этой книжечке ты найдешь и примерный разговор со зрителями. Это не значит, что нужно говорить весь текст слово в слово — переставляй слова и фразы как тебе удобнее, но стихи, конечно, лучше выучить наизусть.

Конечно, ни один фокус не получится у тебя сразу. Терпеливо упражняйся до тех пор, пока не убедишься, что можешь показывать их без ошибок.

Перед показом фокусов поставь небольшой столик с таким расчетом, чтобы зрители были отдалены от тебя не меньше чем на три-четыре шага и не стояли по бокам, — иначе они могут заметить и раскрыть твои “секреты”. Так как тебе придется играть “знаменитого чародея и факира” Обдул-Обдувала, советуем тебе накрутить на голову полотенце в виде чалмы, надеть халат или еще как-нибудь изменить свой обычный костюм. После всех приготовлений выйди к зрителям и, поклонившись, начинай:

Я волшебник и чародей,
Укротитель мух и глотатель щей,
Пожиратель бубликов и кренделей,
Факир, какого и свет не видал,
Неподражаемый Обдул-Обдувал.
Несколько фокусов самых чудесных
Покажу, если вам интересно.
Внимание, внимание,
Запаситесь терпением...»

Если учесть, что тираж у брошюры немалый — 45 тысяч, то можно представить себе и популярность ее, и нужность. Хотя составителем фокусов является Г. И. Греголи, а художником книги — В. В. Андриевич, все же главным ее автором был Гердт.

Вот отрывок из текста указанной брошюры: «Этот фокус («Меняющиеся зеркала». — М. Г.) показывается на картинках. Посмотри на них внимательно, и ты увидишь, что два клоуна и две собаки держат синие зеркала, остальные же два клоуна и две собаки — красные. Сложи двойные картинки веером в следующем порядке: клоун, собака, клоун, собака. Картинка с полным портретом собаки, конечно, последняя, т. е. верхняя. Держи эти четыре картинки обратной стороной к зрителям.

Вы, наверное, заметили, что Посмеян Грустиныч и мистер Полкан никак не могут встретиться. Стоит только клоуну приблизиться к собакам, как тут же, при всем честном народе, собаки превращаются в клоунов; и наоборот, — как только Полкан приблизится к клоунам, они моментально улечиваются и на всех четырех картинках красуется морда пса...

Здесь у меня два Посмеяна и два Полкана. У всех синие зеркала. Но в этой руке у меня еще один портрет. Это мистер Полкан. У него, как видите, красное зеркальце. Вот упрямый какой. Но зеркальце у него волшебное. С помощью моего заклинания оно может сделать все синие зеркала красными. Беру отсюда одного Посмеяна и на его место ставлю Полкана (с этими словами поверни свои четыре картинки обратной стороной к зрителям и, незаметно перевернув их красными зеркалами вверх, замени полный портрет клоуна полным портретом собаки).

“Тумба-Румба-Клумба-Клос! Превращенье началось!”

(Покажи зрителям четыре картинки с красными зеркалами. Перемену зеркал можно повторить еще раз, сказав, что синее зеркальце Полкана тоже волшебное; оно может сделать все красные зеркальца синими.)

Но при помощи моего заклинания я могу превратить любой отдельный портрет Посмеяна Грустиныча в портрет мистера Полкана и наоборот...»

Итак, становится понятно, что Зиновий Гердт — блистательный педагог не только в области искусств, но и психологии. Брошюра его «Как показывать фокусы» заканчивается достаточно поэтично:

А теперь — до свиданья!
Благодарю за вниманье.
В последний раз произношу заклинание:
Тумба-Румба-Клумба-Клос!
Но совсем не в нем вопрос:
Дело в том, что превращенья
Не даются без уменья,
А уменье — без ученья,
А ученье — без терпенья.
Тот же, у кого терпенья не имеется,
На «Тумбу-Румбу» пусть и не надеется.

Хотя Зиновий Ефимович больше не возвращался к своему труду «Как показывать фокусы», но педагогическим принципам, изложенным в ней, всегда был верен.

«...Куклы долго разговаривали моим голосом — у Образцова я проработал 36 лет. Это были очень непростые, интересные годы. Со многим я был не согласен, многое не принимал в этом человеке. Но и сейчас я не могу не восхищаться его талантом, его человеческой сущностью».

В своих записях Гердт утверждал: «Я совершенно не томился за ширмой. Тем более что я там искал и иногда находил что-то художественное. Я сыграл то, что хотел. И в этом мне помогали друзья. К тому же надо сказать, что телевидение было всегда на моей стороне. Если честно, там мне никогда не отказывали... Что касается отчаяния, то, сказать по правде, более отчаянной минуты, чем сегодняшнее утро, не помню. Я очень тяжело хвораю. И был момент — потерял веру во всё. Потом Таня меня как-то утешила, убедила, что прорвемся... Что из крупных достижений в жизни? А вот что: ко мне за город, на дачу, каждый день звонят — не солгу — человек пять молодых людей, которые просто хотят приехать, поболтать, посидеть — это самая огромная победа в моей жизни. Выше этого нет. Я люблю молодых, и они меня любят — вот что шикарно!»

И еще из заметок Гердта: «Надо суметь сохранить в душе те искры, которые оживят кусок дерева, заставят зрителей поверить в чудо жизни куклы, сопереживать ей...»

В день 60-летия Образцова театр гастролировал в Орле. Зиновий Ефимович, естественно, не мог не откликнуться на это событие. Он всегда помнил, что коллектив Центрального театра кукол не только создан, но и возвращен Сергеем Владимировичем. И потому откликнулся на юбилей Образцова статьей «Что такое возраст» («Орловский комсомолец», 21 декабря 1961 года). Из статьи этой видно отношение Гердта не только к его любимому театру, но и к самому Образцову. Вот фрагменты из нее:

«О том, что я устал, или что мне почему-то сегодня грустно, или, наконец, что я неважно себя чувствую — болит голова и надо бы сходить к доктору — обо всем этом я могу сказать многим своим друзьям и близким. Лишь одному человеку, с которым я вижу почти ежедневно, я никогда ничего подобного не скажу. Он просто не поймет. Глаза его будут внимательно-сочувственны, он выслушает меня до конца, а потом скажет: “Вы знаете, какую песню я выучил на гитаре? ‘Летят утки’. С ума сойти”.

Это может показаться обидным только тому, кто его не знает. Дело в

том, что от него самого никто никогда не слышал, что он устал, что ему почему-то грустно и что надо бы сходить к доктору. У него на это попросту нет времени.

...Он член Советского Комитета защиты мира, тысячам читателей он известен как автор проблемных статей и книг об искусстве, книг о путешествиях с фотографиями и рисунками автора, многочисленные любители-рыбоводы ждут от него редчайших мальков, в конце концов в 7.30 он выступает в эстрадном концерте и в 9.15 по телевидению.

Прошло 16 лет, как я знаю этого человека. Казалось бы, пора перестать удивляться, но это невозможно. Когда я увидел его впервые, волосы у него были цвета ржи. Сейчас они белые. Это произошло так постепенно, что я даже не заметил. Мне кажется — он такой же, как много лет назад. И вот вдруг оказывается, что Сергею Образцову 60 лет. Может быть. Это серьезный рубеж. Но я уверен, что завтра он мне скажет: «Посадил 12 берез. Вынул четыре кубометра грунта. С ума сойти!..».

В театре было все — интриги, несправедливости, любимчики. Все как везде.

Но, несмотря ни на что, Образцов неоднократно ходатайствовал за Гердта. Одно из подтверждений этому — письмо, с которым Сергей Владимирович обратился к Евгению Владимировичу Зайцеву — первому заместителю министра культуры РСФСР:

«Вы, безусловно, хорошо знаете актера нашего театра народного артиста РСФСР Зиновия Ефимовича Гердта. Он известен нашей стране и как очень интересный киноактер, снимавшийся во многих фильмах. Его знают также и по выступлениям по телевидению, по радио. Известен он и сольными творческими вечерами. Во всех этих случаях он получает установленную ему восемнадцать лет тому назад разовую концертную ставку в размере 13 руб. 50 коп. С моей точки зрения, это предельно несправедливо, и я очень просил бы Вашего содействия о повышении ему разовой концертной ставки.

Искренне уважающий Вас, С. Образцов».

Гердт был признателен Образцову не только за внимание к нему. Вот что пишет он о Сергее Владимировиче: «Но что особенно отличало Образцова — аллергия на любые проявления национализма. Сколько прекрасных поступков совершил этот человек в те жуткие годы... Как-то (в период борьбы с космополитами) в театр пришел приказ из министерства — сократить четырех человек в оркестре. Образцов собрал худсовет, обрисовал ситуацию и говорит: предлагаю сократить Иванова, Петрова, Сидорова и Новикова (фамилии я точно не помню). А это лучшие

музыканты! Я вскричал: “Сергей Владимирович, в своем ли вы уме?! Давайте сократим Гомберга, Файнберга, Цыперовича... Это слабые музыканты, оркестр с их уходом ничего не потеряет!” Образцов побелел и сухо произнес: “Товарищи, совсем забыл, мне надо срочно переговорить наедине с Зиновием Ефимовичем”. А затем набросился на меня как барс: “Вы что, идиот? Вы не понимаете, что творится в стране?! Где Гомберг, Файнберг найдут работу? Их семьи умрут с голода! А Иванова, Петрова с радостью возьмут в любой оркестр!” Вот так поступил истинный русский интеллигент».

В Образцове Гердт подмечал и ценил именно те черты, что были свойственны ему самому — порядочность, великодушие, глубокий профессионализм.

Из рассказа Роберта Ляпидевского: «Зиновий Ефимович признавал и любил только правду, терпеть не мог никакого лукавства. Не любил пристрастия к актерам... А у Образцова было пристрастие именно к Гердту, причем очень ревнивое... Когда Зиновий Ефимович брал в руки куклу, она у него жила и работала. С мастерами он обсуждал каждую деталь куклы. Рычажки, педальки рта, всякие тяжи — одним словом, всё, каждый миллиметр тела куклы, чтобы кукла была в руке как бы продолжением этой руки. Чтобы нигде ничего не терло, не мешало, чтобы рука чувствовала себя как в отлично сидящей перчатке, чтобы не было никакого сопротивления. От этого очень сильно зависит игра актера. Если что-то мешает в кукле, уже все мысли идут туда, уже монолог существует сам по себе, ты — сам по себе, а кукла — сама по себе. Гердт был в этом смысле педантом, и этой его профессиональной дотошности можно было только позавидовать. “Подточи мне здесь и вот здесь, а здесь чуть затяни...” Это должны были делать все актеры, которые работали с куклами, но... кому-то было просто лень, кто-то не имел времени на такие тонкости, а кто-то говорил, что может сыграть чем угодно, хоть палкой...

Зиновий Ефимович всегда был человеком рискованным. Он всегда что-то пробовал, шел ва-банк, не боялся идти наперекор кому бы то ни было. Он ничего не боялся. Любил жизнь и очень хорошо понимал, что смерть — ее естественное продолжение, и при всем том, что уходить никому не хочется, бояться смерти — неумно».

Глава седьмая «ТЕПЕРЬ ЭТО НАВСЕГДА»

Таня — гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни...

Александр Ширвиндт

Судьбе было угодно, чтобы спектакль «Необыкновенный концерт» соединил Зиновия Ефимовича с Татьяной Александровной Правдиной. Поэтому нам пора покинуть кукольный театр и рассказать об этом необыкновенном союзе.

Они познакомились во время гастролей театра Образцова в Египте, Сирии и Ливане в 1958 году. Татьяну Александровну представили Зиновию Ефимовичу как переводчицу: в поставленную перед ней задачу входил перевод на арабский язык «Необыкновенного концерта».

Образцов привел Таню к Гердту, дело было в театре. Гердт с ленивой небрежностью обмерил, ощупал, обследовал ее взглядом и спросил:

— Дети есть?

— Есть. Дочка.

— Сколько лет?

— Два года.

— Подходит, — сказал Гердт. И только-то.

Они ездили по арабским странам полтора месяца, Татьяна Александровна рассказывала, что поначалу ухаживания Зиновия Ефимовича восприняла вполне негативно, так как у нее было ощущение, что это «попытка завязать гастрольный романчик». При этом она пишет: «К тому времени я была душевно свободна от собственного мужа, которому я за год до этого сказала: “Я тебе больше не жена”».

Еще из воспоминаний Татьяны Александровны: «Мы прожили вместе тридцать шесть лет. Сегодня это половина моей жизни, а когда пять лет назад Зямы не стало, было, естественно, даже больше. Но наша жизнь продолжается, так как его не стало только физически, потому что на каждую свою мысль, поступок, решение я слышу и чувствую его отношение — радостное или сердитое — и спорю, убеждаю, соглашаюсь. Это касается не только домашней жизни, но и той, что называется общественной, — событий в стране, поведения политиков, друзей. Мы были счастливой семьей — семьей единомышленников, то есть не только

любили друг друга как мужчина и женщина, но и дружили. Я думаю, что ставшее классическим утверждение “все счастливые семьи счастливы одинаково” не всегда верно, но об этом расскажу, если достанет мужества, отдельно».

Окружение Гердта относилось к Татьяне Александровне буквально с обожанием. Вот что написал о ней Александр Ширвиндт: «У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия — Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в конце XX века можно носить фамилию из фонвизинского “Недоросля”, где все персонажи: Стародум, Митрофанушка, Правдин... стали нарицательными. Наричательная стоимость Таниной фамилии стопроцентна. Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная. С ее появлением в жизни Зямы возникла железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться... Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно “возвращаться на базу” и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь. Таня — гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни...»

А вот что пишет о союзе Гердта и Правдиной еще один друг их семьи, сценарист Галина Шергова: «Профессия настоящей жены — это множество ипостасей, порой вроде бы взаимоисключающих друг друга. Ведомый и поводырь, защитник и судья, подопечный и опекун... Таня — блистательный профессионал в этой старинной неподатливой должности. Принято считать, что комплекс чеховской “душечки” чисто женская привилегия. О, нет! Присутствие в нашей бабьей жизни того или иного мужчины делает женщину счастливой или несчастной, деятельной или безвольной. Но почти никогда, уверяю вас, почти никогда данный мужской персонаж не формирует ее нравственный образ, ее суть. Поведенческие трансформации — о, Боже, что с ней стало, ведь в девках была иной! — это всего лишь сознательное или, реже, бессознательное желание “вписаться в мужика”. А так — какая была, такая и есть.

Мужчины же — “отнюнь”, как говорила моя маленькая внучка. “Душечки”-то как раз они. Именно в браках гуляки становятся домоседами, расточители — скрягами. Или наоборот. Если, конечно, жена для них значима.

На протяжении полувека моей дружбы с Зямой я наблюдала и разные, вовсе не иконописные лики его поступков. Что вовсе не делает его лицемером, прикидывающимся носителем незапятнанных белых одежд.

Помилуйте! Разве на совести каждого из нас нет мутных пятен или затертостей? Да и вообще, стерильщик — скучен.

Но присутствие Тани в Зяминой жизни не раз оберегло его от неверных душевных движений. Он жил, кося глазом на свод Таниных нравственных принципов, сверяясь с ним.

А Танин моральный кодекс — не чета провозглашенному некогда “Моральному кодексу коммуниста”. Ибо последний был декларацией, литавровым грохотом бесплотных заклинаний. А Танины устои — безгласны, естественны, как кровообращение в живом организме. Хотя ей и принадлежат некоторые мудрые постулаты. Как, скажем: “Дружба сильнее любви. Любовь может быть безответной, а дружба нет”. Какой она друг, умеющий без восклицаний и многозначительных жестов приходить на выручку и утолять горести, сама я убеждалась не раз. У ее, старомодного по современным меркам, Кодекса чести и корни — старомодные».

Тут хочется сказать несколько слов о «корнях» — а точнее, о Татьяне Сергеевне, маме Татьяны Александровны. Она дочь знаменитого владельца коньячных заводов Сергея Николаевича Шустова. Уже в начале XIX века глава семейства значился купцом третьей гильдии. Но вскоре Шустовы отошли от торговли солью и прочей бакалеей и переключились на более выгодное дело — в 1863 году Николай Леонтьевич Шустов открыл компанию «Н. Шустов и сыновья», производившую алкогольные напитки. Еще в 1880 году московский завод Шустовых, расположившийся в районе Пресни, имел несколько магазинов, а в канун XX века один из братьев Шустовых приобрел коньячный завод в районе Эриванской крепости, ставший позднее знаменитым Ереванским коньячным заводом. Тогда же другой брат, Василий, уехал во Францию, откуда и привез технологию производства французских коньяков.

Итак, мама Татьяны Александровны Татьяна Сергеевна — прямой потомок династии Шустовых, людей честных, деловых, предприимчивых. И неудивительно, что, впервые увидев Зиновия Ефимовича, она сразу объявила приговор: «Подходит».

Не ошиблась Галина Шергова, написавшая, что союз Татьяны Александровны и Зиновия Ефимовича сложился стремительно. По ее рассказу, на гастролях в Египте Гердт «пустился во все тяжкие», используя все свое обаяние и «донжуанские» способности: «День такой деятельности сшибал разрабатываемую даму с ног».

Уже на обратном пути в Москву, в самолете, Татьяна Александровна и Зиновий Ефимович условились о новом свидании.

До встречи с Правдиной Гердт уже восемь лет был женат третьим

браком. Но сразу после приезда в Москву сказал жене: «Я полюбил другую женщину и ухожу». Краткость этого заявления не делала его проще. Конечно, Зяма мучился сознанием, что приносит боль жене. Но она сама облегчила задачу единственным вопросом:

— А как же квартира?

— Квартира — твоя.

В канун этого свидания Таня сделала своему мужу такое же признание. Формулировка, правда, была иной, соответственно иной семейной ситуации. Через три дня Зяма заехал за Таней — они решили отправиться в Ленинград на машине. Ожидая его, она все рассказала родителям.

Татьяна Сергеевна обратила на дочь сочувственный взгляд: «В таких случаях неплохо бы познакомиться с будущим зятем».

Гердт поднялся в квартиру, представился и заверил:

— Я обещаю всю жизнь жалеть вашу дочь.

И через паузу:

— Я очень устал от этого монолога. Давайте пить чай.

Что они и сделали.

Когда уходили, Таня шепотом спросила мать: «Подходит?» И та, как после долгого знакомства, взмахнула рукой: «Абсолютно!»

Как-то Зиновий Ефимович пошутил: «Я играл роль Апломбова на арабском языке, и это было так невыносимо, что я женился на переводчице».

Он обожал свою тещу. «Однажды Гердт, подняв бокал за жену и тещу, с серьезным видом сказал, что, собственно говоря, он и женился на Татьяне из-за ее родителей, настолько они ему нравятся», — вспоминает Рина Зеленая. Ей же Образцов говорил, что у Гердта один недостаток: он очень любит жениться: «Я писала о женщинах, узнавая которых, диву даешься. Такая и есть Татьяна Александровна Правдина. И совсем она не красавица, а еще лучше».

Вспоминает Галина Шергова: «Зяма гордился тещей. Восхищался тещей. Дружил с тещей. Обожал тещу.

Таня-младшая все достоинства матери не примеряла на себя. Она просто существовала и существует с ними, в них. Оттого ее фамилия — Правдина — всегда казалась мне заимствованной из какой-то пьесы времен классицизма, где фамилии персонажей определяют их характер и нормы поведения...

Когда Гердт женился на Тане и познакомил нас, я спросила его (Таня куда-то отошла):

— Ну, и какой срок отпущен этой милой даме?

Даже не улыбнувшись, он отвечал:

— До конца жизни.

Зиновий Ефимович на сей раз оказался прав — у него с Татьяной Александровной образовалась настоящая дружная семья. Но до этого женитьб было немало».

Надо сказать, что со всеми своими женами Гердт расставался по-хорошему, и никто из них, что бывает нечасто, впоследствии не сказал о нем ни одного дурного слова. «У него все жены были очень приличные женщины», — подтверждает его сын Всеволод Зиновьевич. После расставания с Мариной Новиковой Гердт несколько лет прожил в гражданском браке с филологом-востоковедом Натальей Айзенштейн, о чем сказано в мемуарах ее сына (от другого брака) А. Колчинского. После этого был женат, тоже недолго, на дочери партийного начальника из Средней Азии и говорил друзьям об этом браке так: «Влачу среднезятское существование». Следующая его жена была скульптором, лепила фигурки, игрушки; эту деятельность Зиновий Ефимович называл «детский лепет».

«Да, женитьбы были многочисленными, — продолжает Галина Шергова. — Признаюсь, я со своими однолинейными вкусами, направленными на красавцев, не очень понимала причины его оглушительного успеха у женщин. Хотя ценила и ум его, и талант, и непобедимое обаяние. Но, так или иначе, свидетельствую: Гердт нравился женщинам, пожалуй, больше других известных мне мужчин. Все они любили его самозабвенно и бескорыстно.

В связи с этим вспоминается такая история. Однажды на вечере в Доме актера со своими воспоминаниями выступал известный режиссер Владимир Поляков, тогда руководивший Театром миниатюр.

И, когда он закончил выступление, кто-то из присутствующих задал вопрос:

— А вы всех своих жен помните?

— Я, быть может, забыл бы их, если бы не квартиры, которые я оставлял женам.

— И много таких квартир?

— Когда создадут ЖЭК из этих квартир, я посчитаю.

...Когда я рассказала эту историю Зяме, он грустно произнес:

— На днях одна маленькая девочка сказала мне: “Мы получили комнату — 17 квадратных метров”. Понимаете — квадратных! А я даже обыкновенного метра никому не мог вручить. Обидно».

Действительно, настоящий, собственный дом появился у Зиновия

Ефимовича только вместе с Татьяной Александровной. И дом этот всегда был открыт для друзей. Племянник артиста Эдуард Скворцов вспоминал: «Множественные приятельские контакты были милы его сердцу. Домработница Нюра как-то сказала: “Когда гостей два-три дня нет, — Зиновий Яфимыч ходит по квартире скуушной!”». А вот воспоминания Эльдара Рязанова: «У Зямы и Тани был открытый дом. В новогодние праздники десятки людей чередовались за накрытыми столами, и среди них были не только знакомые. Однажды около трех часов ночи один из гостей обратился к Тане:

— Простите, а вы кто будете?

— Я вообще-то хозяйка, — ответила Таня. — А вы кто?..»

Эдуард Скворцов пишет: «Главным предметом в квартире, вне сомнений, был телефон. Домой Зяма в течение дня звонил при первой возможности, вникал в мельчайшие детали текущей обстановки, меняющейся с каждым часом. Первое, что делал, когда прибывал в любой пункт на земном шаре, а ездил он постоянно, — дозванивался до Тани и докладывал, что с ним всё в порядке. Обмен несколькими энергичными фразами — Антей припадал к своей Земле, — и нормальная жизнь восстановлена».

А вот что говорит о жизни Зиновия Ефимовича и Татьяны Александровны Татьяна Никитина, участница знаменитого бардовского дуэта: «Чета Гердтов никак не выглядела парой голубков. Многие считали, что Т. А. — генерал и главнокомандующий. И отчасти это было правдой. Зяма был необыкновенно к ней привязан, зависим психологически и морально. Т. А. не позволяла ему быть старым и больным со всеми вытекающими из этого последствиями. До последних недель жизни он был художником, не знающим возраста. С ним было интересно дружить независимо от того, сколько тебе лет. Гердт сохранял молодой взгляд на жизнь, его интересовало всё — от политики до домашних мелочей. Всегда элегантный, подтянутый, обаятельный и остроумный Гердт, а Т. А. за кулисами. Всё было основано не на подчинении, а на неизменном взаимном интересе, дружбе, уважении, нежности и любви, которую оба никогда не демонстрировали. Невозможно вообразить, чтобы Т. А. прилюдно хвалила Зямочку, он не ходил дома в гениях. Мне кажется, что сам Зяма был благодарен за это Т. А., как никто другой. Всё, что волновало и происходило важного и не важного с ним за день, он приносил домой к Тане».

...Сказано в Талмуде: «Я никогда не звал жену женой. Я зову ее домом».

Глава восьмая О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

Он мне всегда заново необходим.

Рина Зеленая о Зиновии Гердте

Не многим известно, что Зиновий Ефимович Гердт стал выступать на эстраде с того самого времени, когда поступил в театр Образцова. Он вспоминал: «На эстраде я показывал очень любимых поэтов и очень любимых артистов и таким образом вошел в эту необыкновенную группу людей, в эту необыкновенную часть человечества, которая занимается эстрадным искусством. Над всем этим пестрым и замечательным обществом царил Леонид Осипович Утесов».

Однажды Утесов и Гердт гуляли по саду «Эрмитаж». На сцене незнакомый актер выделял какие-то номера, и Зиновий Ефимович отметил, что тот неплохо работает. На что Утесов заметил, что так может любой еврейский мальчик из Одессы, если только не стесняется. Гердту всегда нравились одесситы с их юмором, свободой и непобедимым жизнелюбием. Однажды в беседе с Лидией Либединской у него даже вырвалась фраза: «Мне всегда кажется, что я родился в Одессе. Ну, если не родился, то хотя бы детство мое прошло там». При этом хороший вкус и профессионализм заставляли его резко отрицательно относиться к пошлomu «одесскому юмору», создатели которого часто не имели никакого отношения к городу на Черном море. В 1980-е годы он говорил: «Меня приводит в ужас нынешняя эстрада. По сцене и по жизни ходит орда давно состарившихся “мальчиков”, которые умеют делать всего две штуки, и публика им аплодирует».

Конечно, это не относилось к Леониду Утесову, чьим талантом — музыкальным, артистическим да и просто человеческим — Гердт всегда восхищался. Выступая на юбилейном вечере Утесова в 1975 году, Гердт сочинил музыкальное поздравление. Вот как о нем вспоминает Галина Шергова: «Знаменитого утесовского Извозчика приветствует возница квадриги на Большом театре:

“Здесь при опере служу и при балете я...”

Он по-ребячьи был горд найденной рифмой, упакованной в одну строку:

“В день его семи-деся-ти-пяти-летия...”». Леонид Осипович был в

восторге. А вот Марк Бернес однажды на гердтовскую пародию обиделся... Впрочем, не будем тасовать байки про Зяму — к ним никак нельзя сводить ни его жизнь, ни его искусство. Но и без баек — Гердт не Гердт. Точнее, без притчей, ибо в каждой забавной истории о нем заключено его отношение к жизни, к людям.

Среди многих артистических талантов, ниспосланных Гердту Богом, заметное место занимала пародия. Однажды на очередном вечере в Доме актера он пародировал Утесова. По его признанию, он не волновался в тот день и уж конечно не подозревал, что слушателем его станет сам объект пародии. «И вдруг на сцену выходит Леонид Осипович Утесов, с которым я не был не только дружен, но и знаком так сказать “за руку”. Я обомлел, мне стало страшно стыдно — что же я изображаю такого человека. Он вошел, улыбаясь, прижал меня к животу — грудь была недоступна, он в те годы был уже довольно полным человеком — и сказал: “Зови меня ‘Ледя’ и ‘ты’”».

Из воспоминаний Валентина Иосифовича Гафта: «В коммуналке у нас было две комнаты, одна большая, другая совсем крохотная, где жила моя тетка — тетя Феня. Однажды я услышал ее пронзительное: “Валя!.. Быстрее сюда! Гердт!” Я думал, что началась война, и помчался к ней... Репродуктор старенький, слышно плохо, ручка до конца не дожимается... Я сажусь на полускатывающийся диван и беру в ухо этот репродуктор. Звук то прерывается, то восстанавливается сквозь какие-то стрекотания и шуршания... Слышу голос Утесова. А оказывается, это Гердт. Вот и весь фокус. Потрясение!»

В одном из выступлений — возможно, это было на вечере памяти Гердта — Аркадий Арканов сказал: «Если бы даже Гердт был только пародистом, он бы навсегда остался в нашем искусстве. Равных ему в этом у нас нет и не было». А позже я прочел в воспоминаниях Аркадия Михайловича о Гердте: «Мне он явился как блистательный музыкальный пародист, гениально изображавший Леонида Утесова. Потом он читал стихи. Обычно пародисты читают чужие стихи, Гердт читал стихи свои и драматурга Михаила Львовского, они очень дружили, вместе писали пародии».

В воспоминаниях Александра Ширвиндта о Гердте я прочел: не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом, тонким, доброжелательным, точным. Недаром из всех своих «двойников» Утесов обожал именно Гердта. В архиве Леонида Осиповича нет документальных подтверждений его дружбы с Зиновием Ефимовичем, но, без всяких сомнений, они не могли не встретиться, пройти мимо друг друга — их

общение было неминуемо. Однажды я попросил Татьяну Александровну Правдину рассказать мне о встречах Утесова и Гердта. Она ответила: «Мы не бывали в гостях друг у друга, но на московских “тусовках” встречались нередко. Надо было видеть, как Утесов и Гердт радовались друг другу. Тогда уже рядом стоявших не существовало — только они».

Михаил Михайлович Жванецкий, однажды ставший свидетелем их встречи, спросил Зиновия Ефимовича: «Вы что, и вправду не одессит?» — «Представьте себе», — с «фирменной» улыбкой, преисполненной обаяния и застенчивости, ответил тот. Оказавшийся рядом Утесов незамедлительно вмешался: «Мы уже в том возрасте, когда нам простителен склероз, правда, Зяма?»

В одной из телепередач Гердт делился воспоминаниями: «Утесов прожил в Одессе первые 25–26 лет, потом 25 лет в Ленинграде. Ему свойственна была специфическая, с одесской интонацией, но очень хорошая русская речь. Там не говорят “конечно”, там говорят “конеЧно”, там не говорят “белый хлеб”, там говорят “булка”, то есть там есть какие-то свои особенности языка. Важно, что речь абсолютно прекрасная. Утесов при всем этом сохранил одесское, то есть южнорусское речение. Потом всю жизнь он провел в Москве. Ничто не повлияло на произношение Леонида Осиповича. Он никогда не сдваивал согласных. “ОбыкновеНый” — “обыкновенный” он не мог сказать, “в институте” — произносил “вынституте”, — это одесская речь, и с этим ничего нельзя сделать. Если просто смотреть на поведение граждан одесских, как говорит Жванецкий: “Там в воздухе что-то есть”, — и я наблюдал всякие картинки и, приезжая в Москву, рассказывал Утесову.

Скажем, была такая вещь. Живу я в гостинице “Красная” напротив филармонии на Пушкинской улице. Я уверен, что это красивейшая улица в мире. Однажды в пустынный жаркий день я вышел на улицу — просто вдохнуть воздух Пушкинской улицы. Прогуливался между подъездом “Красной” и домом № 4, где жил когда-то Пушкин. Так я простоял, прошагал минут двадцать “без улова”, что называется — то есть ничего не происходит. Вдруг я вижу, что со стороны филармонии идет старик — огромный старик лет восьмидесяти в полотняном пиджаке. Свободные полотняные штаны, большие очки, глаза огромные налиты гневом и обидой. Я подумал, что он идет из собеса, где ему в чем-то важном отказали. И я смотрю на него с сожалением и сочувствием. И вдруг, когда он чуть-чуть приблизился, то я понял, что за этими огромными штанами идет маленькая девочка лет четырех от силы, беленькая в кудряшках девочка, она тянет к нему руку и говорит: “Дедушка, возьми меня за

ручку!” Дед отвечает: “Вот я не возьму тебя за ручку — все!” Это конфликт — между восьмьюдесятью и тремя. И это налило его гневом и обидой. А девочка играет: “Дедушка, возьми меня за ручку!” — и при этом она крутит головой, смотрит на мир и кричит одну фразу. А дедушка раздраженно: “Я не возьму тебя за ручку!” — и это длится и длится. И когда они поравнялись со мной, он сказал: “Слушай сюда!” Она послушно подняла голову наверх.

— Когда тебя сегодня бабушка спросила: “Кого ты больше любишь — дедушку или бабушку”, ты что сказала?

— Бабушку!

— Я не возьму тебя за ручку, все! — и дедушка продолжил шагать.

Вот этот гнев и возмущение дедушки я передал Утесову уже в Москве. Он сказал: “Ты неправильно все это рассказываешь! Тебе важно что — реальность или художественная правда?”

Я ответил, что мне, конечно, важнее художественная правда».

Ледя, что называется, «завелся»:

«Теперь я еще раз убедился: Зяма, ты — не одессит. Во-первых, зачем надо было гулять у подъезда гостиницы “Красной”, когда лучше было любоваться гениальным, на мой взгляд, фасадом филармонии. Во-вторых, ты хоть знаешь, кто его построил? Великий итальянский архитектор Бернардацци. А на чьи средства? Конечно, лапитутники (извозчики. — М. Г.) помогли. Их синагога была на нашей улице».

И еще Леонид Осипович рассказал мне вот какую историю: «В последний мой приезд в Одессу после очередного концерта зрители меня долго не отпускали. А когда я, наконец, оказался на свободе, на улице остановил такси, открыл дверь, одной ногой вошел в машину, и вдруг меня хватает за рукав пиджака какая-то пожилая женщина, держащая за руку маленького мальчика, видимо внука (откуда взялась она так поздно на этой пустынной улице?). “Минуточку, — держа меня за рукав, сказала она, — посмотри, Вовочка, может быть, ты этого дядю видишь в последний раз. Когда я была маленькой, он уже был старый, его фамилия Утесов”. Я быстро захлопнул дверь такси, а про себя подумал: больше я в Одессу никогда не приеду».

Когда-то знавший Утесова журналист Леонид Бабушкин поведал мне: «Мне кажется, что Леонид Осипович по-доброму завидовал Гердту. Зиновий Ефимович стал великим актером на сцене и в кино, но не менее велик он был, работая в Кукольном театре Образцова. Вот что услышал я однажды от Леонида Осиповича: “Я не раз видел Гердта, вернее его кукол в театре Образцова. И мысленно завидовал ему. Ужас моего

легкомысленного искусства состоял в том, что когда я выходил на сцену, то это был поединок. Я видел глаза зрителей не только в первом ряду, но и во всем зале, и часто думал: 'Как здорово было бы не выходить на сцену, а записываться только на пластинки'. Но вскоре понял абсурдность этой своей мысли. Я вижу глаза людей, на меня устремленных — доброжелательные, ласковые и преисполненные восхищения. И мне так хотелось петь! И чтобы каждый в переполненном зале думал, что я пою только для него"».

И еще раз слово Гердту: «Я вспомнил дивную историю. Был в Центральном доме литератора какой-то военный вечер. И вот мы выпиваем, а кругом — генералы, генералы, генералы. И вдруг “на огонек” заходит Леонид Осипович Утесов. А он зашел не выступать — просто так зашел. И один какой-то генерал сказал: “О, товарищ Утесов нам сейчас что-нибудь изобразит”. На что Леонид Осипович без промедления ответил: “С удовольствием! Если товарищ генерал нам что-нибудь постреляет”».

В день презентации книги «Гостевая виза» о поездке российских деятелей культуры в Израиль я стал свидетелем разговора Зиновия Ефимовича с Лидией Борисовной Либединской. Листая книгу, Гердт с грустью заметил: «Здесь не хватает одного автора — Утесова. Он так в Израиле и не побывал». А потом рассказал, что во время одного из автобусных переездов, кажется из Иерусалима в Нетанию, вся дружная российская компания попыталась что-то спеть хором. Не получалось. «Евгений Павлович Леонов со свойственным ему спокойствием изрек: “А потому, что нет среди нас главного запевалы”. На что ваш Игорь (Губерман — зять Лидии Борисовны. — М. Г.) бойко ответил: “Его же может заменить Зиновий Ефимович Гердт”. И тогда я с грустью ответил: “Увы, Утесов — незаменим”».

Гердт, разумеется, был на 70-летию Утесова в 1972 году и конечно же выступил на нем. Вот стихи, сочиненные им и прочитанные на этом юбилее:

На вид сорока ему дать не могли бы,
Пусть паспорт предъявит скорей.
Хоть адресов кипа, но все это липа.
Давай, прикрывай юбилей!
Послушайте, граждане, дамы, мужчины,
Мы лить здесь не будем елей,
За что, почему, по какой же причине
Устроили сей юбилей?..

С такой шевелюрой, с такою фигурой,
С отсутствием острых болей,
Позвольте ж спросить Министерство культуры:
Не рано ли давать юбилей?

Произнеся эти строки, Зиновий Ефимович посмотрел в сторону Фурцевой, но Утесов вмешался в процесс: «Зяма, разве ты не помнишь, что давным-давно мудрый Соломон сказал: “Все, что человеку суждено, придет ровно в срок”?» На это Гердт заметил: «Соломон, безусловно, прав» и продолжил чтение своего послания:

Когда человек уже дергает глазом
И в спазмах пришел апогей,
Есть налицо стопроцентный маразм:
«Пожалста, давай юбилей».
Мы правду откроем сейчас при народе,
В присутствии видных людей,
И разоблачим биографию Леди,
Отравим ему юбилей.

И подойдя к сидящему в кресле Утесову, приподняв правую руку вверх, сказал: «А теперь — допрос»:

Ответь нам, Утесов, на пару вопросов,
Ну, в чем тут эссенции квинт?
Ведь ты ж был с пеленок нормальный ребенок, —
Одесский простой вундеркинд.
Другие детишки играли в картишки.
Рогаткою целились в глаз...
А этот пацанчик стучал в барабанчик;
Хотел государственный джаз.

Зал заливался смехом и аплодисментами. Разумеется, никто не думал, что уже близится полночь — ведь вечер начался с опозданием более чем на час, поскольку задержалась главная гостья Фурцева. Тут Зиновий Ефимович сказал в микрофон: «Основное мое послание впереди».

И продолжил: «Вы ведь еще не знаете главного о нашем юбиляре»:

Потом, подрастая, он пробрался на сцену,
Своей популярности для,
И так, постепенно, он стал феноменом,
Играя любые роля.
Всегда юбилеи дают карьеристам,
Таким, как Утесов, как раз.
В дни гражданской войны стал артистом,
Чтоб праздновать дату сейчас,
Пекло его солнце, морозила вьюга, —
Терпел неприятных вещей...
Но в минуты досуга предвидел, хитрюга,
Что будет ему юбилей!..
Играл он грузинов, играл армянинов,
То — грек, то — узбек, то — еврей...
За это ехидство, за космополитство...
Не стоит давать юбилей!..

«А мы его все же даем!» — торжественно завершил Зиновий Ефимович под гром аплодисментов.

Давно уже нет среди нас ни Утесова, ни Гердта, но память о их таланте, человечности, обаянии продолжает жить.

«На стыке» талантов этих двух актеров в моей памяти возникает третий — «саратовский Райкин» Лев Горелик. Вот его рассказ: «Именно с гердтовским монологом “Саратов — Москва”, гордясь результатами, Плучек показывал меня своим друзьям. (Дело в том, что Зиновий Ефимович оказался автором нескольких монологов, созданных для Горелика. — М. Г.)

Пустой огромный балетный класс, прямо передо мной на двух одиноких стульях сидят Утесов и Плучек.

Читаю. Последняя фраза. Небольшая пауза. И голос Леонида Осиповича:

“Как он чувствует 15-й ряд!”

Короткие реплики Утесова, мгновенные, искрометные, доставляли не меньшее наслаждение, чем байки и анекдоты, которые он рассказывал с непередаваемым мастерством и обаянием.

Как-то я при нем запил водой шепотку соды.

“Что такое?” — с любопытством спросил Утесов.

“Изжога”, — пояснил я.

Утесов резюмировал: “Еврей без изжоги — не еврей”.

Или уже гораздо позже на банкете в мою честь (мне было присвоено звание заслуженного артиста), где Леонид Осипович был тамадой, я сказал: “Расцениваю звание заслуженного как незаслуженный аванс”.

Утесов тут же среагировал: “Это он сейчас так говорит. А стоит ему выйти с банкета, подумает: когда они мне уже дадут народного?”».

«Левушка, я восхищен перед тобой. Ты устоял в человеческом звании перед трясинной эстрады. Дай тебе Бог. Твой...» — так сказал Гердт о Горелике, но это можно сказать и о самом Зиновии Ефимовиче. Кстати, монолог «Рыболов», созданный Гердтом, стал для Горелика «гвоздевым» на много лет, и в книгах о советской эстраде не раз упомянут как эталонный (правда, перу Зиновия Ефимовича принадлежал только первый его вариант).

И дальше Лев Горелик продолжил: «Моя любовь к Зиновию Ефимовичу была безграничной. После каждой репетиции я, захлебываясь, рассказывал своей квартирной хозяйке, что Гердт сказал так, Гердт сострил эдак, Гердт придумал то-то. И однажды она проворчала: “Как ты мне надоел со своей Бертой!”».

Год он обкатывал его монологи на эстраде, а когда приехал в Москву, позвонил Зиновию Ефимовичу и сказал, что хочет ему эти монологи прочесть.

— Приезжай, у меня как раз сейчас Плучек.

Горелик приехал, сел за стол, Гердт подходит к радиоприемнику и ищет что-то на волнах. Вдруг из приемника раздается голос:

«Передаем последние известия. Вчера сталевары Магнитогорска досрочно закончили юбилейную плавку. Сегодня в Москву из Саратова на Павелецкий вокзал прибыл заслуживающий внимания артист разных филармоний Лев Горелик. Его встречала общественность города, труженики столицы и пионеры Москвы. Ученик 28-й средней школы сказал (звучит мальчишеский голос): “Мы рады вас приветствовать на Московской земле, дорогой Лев Горелик! И всем классом хотим вам дружно сказать: а не пойдете ли вы к едрене матери с вашими монологами!”».

Это был один из розыгрышей Гердта, тем более удавшийся, что магнитофоны еще были в новинку и Лев Горелик не сразу догадался, что все это значит.

А вот байка от Гердта, пересказанная Львом Гореликом:

«Однажды в Тбилиси мы с друзьями пошли в знаменитый подвальчик-

духанчик с обаятельным названием “Симпатия”.

Он был славен как любимый приют художников, артистов, поэтов. Кто там только не бывал из известных мира сего. Здесь бурлила жизнь местной богемы.

Кроме всего прочего, достопримечательностью “Симпатии” были античные скульптурные бюсты: Гомер, Софокл, Эсхил, Еврипид.

Над каждым столиком в арочном углублении стоял свой персональный классик. Заправлял всем вечером радушный хозяин, который с явным удовольствием раздавал команды подопечным духанщикам:

— Резо! Обслужи Еврипида!

— Арчил! Рассчитайся с Софоклом!

— Гиви! Подойди к Аристофану!

Старожил этого симпатичного заведения с гордостью вспоминал известных гостей, украшавших “Симпатию” своим присутствием.

— Какие люди посещали нас! — говорил он. — Маяковский и Есенин, Горький, Шаляпин, Куприн, но самый знаменательный день в жизни “Симпатии” — день, когда нас посетил сам всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Он пришел в восторг от нашей кухни и оставил благодарственную надпись в книге отзывов. Мы посадили его в правый крайний угол под Эсхилом. Потом мы обнесли столик лентой, прикрепили над ним мемориальную доску: “За этим столиком сидел всесоюзный староста М. И. Калинин”. С того дня этот столик — наша реликвия и больше не обслуживается.

— Извините, — вежливо заметил я, — но кто-то сейчас там сидит и кушает шашлык.

— Ты знаешь — очень попросил. Не смогли отказать!»

*

Зиновий Ефимович не раз рассуждал устно и письменно о понятиях «дружба» и «любовь»: «Любовь бывает без взаимности — бывает ведь неразделенная любовь, дружба неразделенная не бывает, иначе это рабство какое-то, что ли... Дружба — великое явление. Хотя бывает... бывает, думаешь, лучше бы я его не знал, а знал бы только его творчество. Или наоборот: пусть бы я никогда не видел плодов его творчества, а знал только его самого. Но когда эти две любви совпадают — это великолепно!»

Гердт дружил с Риной Зеленой и любил ее за «первосортное чувство юмора, за щедрый талант, за беспощадный профессионализм». Вот как он

отзывался об этой замечательной актрисе: «Никто и никогда не слышал от нее жалоб на усталость... Этот человек не прощает ни себе, ни другим небрежности в деле, которому мы служим». И добавляет: «Вот единственное, за что я ее терпеть не могу: всю жизнь она служит укором моей собственной лени и нежной снисходительности к себе...» «Подчас она казалась парадоксальной, но в итоге всегда оказывалась права», — писал о ней Зиновий Ефимович.

«Никто не знал, что с Риной происходит, какие гадости или болезни, — говорил Гердт. — О них знала только она сама и не отвлекала человечество на свои проблемы. Поразительно легкий характер! Она даже находила в себе силы по-прежнему шутить: “Мне пора называться не Риной, а Руиной Васильевной”». Зиновий Ефимович вспоминал, что она всегда, даже во времена обязательного официального атеизма глубоко верила в Бога. По тому, как она относилась к Всевышнему, по простоте, почти будничной, и величию их «взаимоотношений» Зиновий Ефимович Гердт все время, хотя и не говорил ей об этом, сравнивал ее с Борисом Пастернаком.

В статье о Рине Зеленой Гердт вспоминал галерею образов, созданных ею в кино на протяжении десятков лет: «Вот молоденькая секретарша в “Светлом пути” с телеграммой в руках.

— Морозова, вам почему-то телеграмма из Москвы, — говорит она подобострастно героине, которую до сих пор не достаивала даже взглядом».

Зиновий Ефимович вспоминал и фильм «Встреча на Эльбе»: «В советскую комендатуру в немецком городке входит немка. Она ведет свой велосипед: к багажнику привязано несколько полешек дров, а на них лежит крохотный букетик фиалок. Она в очках, клетчатой куртке, в старых спортивных брюках.

— Что вам угодно, фрау? — спрашивает комендант.

— О, ничего, — поясняет она свой приход. — Я только хотела спросить вас: там бомба, неразорвавшаяся, лежит у меня под кроватью. Нет-нет, она мне совсем не мешает. Я только хотела узнать, можно ли ее мыть мылом.

Я прямо вздрогнул от точности этого образа, этого актерского перевоплощения.

...А вот самодовольная бюрократка, директор ателье, в фильме “Девушка без адреса”. Как смеется над ней зал!

— Иванова, почему вы разговариваете? Вы же не член правления.

А заколдованная девчонка в сказке “О потерянном времени” Е.

Шварца! Она даже во время бешеной погони успевает пропрыгать по всем нарисованным на тротуаре классам и снова бежит со всех ног дальше от злых волшебников.

Дамы и домработницы, важная гувернантка в “Каине XVIII” и уборщица в короткометражке “Зонтик”, поэтесса-декадентка в фильме “Поэт” и крохотная кукла на ладони у Тарапуньки, поющая грустную песенку в “Веселых звездах”. Все это Рина Зеленая...

В фильме “Дайте жалобную книгу” мы увидели ее в совершенно неожиданной роли. Поет немолодая джазовая певица, которую выгоняют с работы за устаревший репертуар. Зал хохочет, но смех смешан с грустью. Это чаплиновский персонаж», — размышляет Зиновий Ефимович.

Рина Зеленая и Зиновий Гердт нередко виделись в Москве, хотя познакомились в Ленинграде в гостинице «Астория»: «Мне говорят: “Вот Гердт прошел...” Я скорее хватаю очки — посмотреть на него хоть издали, а лифт закрылся и уехал... Потом все-таки спросила у дежурной по этажу, в каком номере Гердт, и позвонила по телефону, можно ли повидать его... И он пришел, и мы толковали за полночь. И так с тех пор и разговариваем, — вспоминает Рина Васильевна. — После первого разговора выяснила, что его-то мне всегда и не хватало. Наконец-то я его нашла, моего друга милого. Вот с тех пор и люблю его всегда».

Вот как она отзывалась о Гердте: «Мне, например, нравится, как он одет. Я люблюсь его манерой двигаться так элегантно, несмотря на сильную хромоту (ранение на войне). Я думаю, так хромал Байрон. Его талант актерский, писательский (моя любимая комедия — “Поцелуй феи” З. Гердта и М. Львовского), шутки, острые или дурацкие, — мне все подходит».

Весьма любопытны дошедшие до нас рассуждения Риной Зеленой о кукольном театре Образцова. По мнению и убеждению Риной Зеленой, кукловодство — это трудное, физически тяжелое искусство-ремесло... Ей много раз предлагали за кулисами театра рассмотреть всю технику, как это действует, но она так и не согласилась, не смогла себя заставить посмотреть... не хотела, боялась увидеть висящую на гвоздике живую Кармен или собачку Тяпу. Рина Зеленая смотрела на кукол, как на игрушечных артистов.

Зиновий Гердт запомнил случай, произошедший на 60-летию А. Т. Твардовского. Поэт пребывал в тоске — его только-только уволили из главных редакторов журнала «Новый мир», — и праздник получился невеселым. Тут на дачу ворвалась Рина Зеленая — сказала, что ищет Гердта. Незваную гостью усадили за стол, налили водочки. Тут Рина

принялась теребить друга Зиновия: «Хочу выступить!» Гердт в ответ: «Вы что, идиотка? Здесь цвет российской словесности, как же вы можете со своими шуточками?» Но Зеленая настаивала, и Гердт сдался: «Перед вами хочет выступить...» А Рина уже перебивает: «Вы что, идиот? Здесь собрался цвет российской словесности, как же я могу со своими шуточками...» Естественно, ее стали просить, и Рина прочла кое-что — Твардовский от смеха катался по дивану! А потом сказал Гердту: «Зяма! Тронут, что вы позаботились обо мне, и в печальную минуту привезли Рину...»

Среди русских поэтов, любимых Зиновием Ефимовичем, Твардовский занимал не просто особое, но уникальное место. Летом 1970 года они оказались соседями в подмосковном доме отдыха на реке Пахре. Гердт вспоминал: «Случилось так, что в последние годы жизни Твардовского судьба подарила мне общение с этим замечательным человеком». Никогда не забуду, как блистательно и, разумеется, по-своему читал стихи Твардовского Зиновий Ефимович. Прежде всего, их объединяла искренняя любовь к истинной поэзии. Помню, как читал Гердт стихотворение «В тот день, когда окончилась война».

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный...

И только здесь, в особый этот миг.
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...

Как-то я уловил из слов Зиновия Ефимовича мысли о том, что поэт — самая высокая профессия. Поэтом не может назначить никто, кроме небес. Мысль сама по себе не новая, но это воистину так. Настоящие поэты, хотя бы они того или не хотят, оставляют все лучшее, созданное ими, будущему. «А

знаете, — спросил меня Гердт, — какие стихи Твардовского вошли в мою душу, в мое сердце навсегда?»

Прощаемся мы с матерями
Задолго до крайнего срока —
Еще в нашей юности ранней,
Еще у родного порога,

Когда нам платочки, носочки
Уложат их добрые руки,
А мы, опасаясь отсрочки,
К назначенной рвемся разлуке...

Я слушал знакомое мне стихотворение Твардовского «Памяти матери», а вспомнилось мне другое стихотворение другого поэта — Евгения Евтушенко:

Уходят наши матери от нас,
Уходят потихонечку, на цыпочках.
А мы спокойно спим, едой насытившись,
Не замечая этот страшный час...

Разные поэты и в разное время заговорили об одном. Их мучила одна и та же боль. Как будто прочитав мои мысли, Зиновий Ефимович заметил: «Любовь к матери, к ее памяти у настоящих поэтов остается болью навсегда. Послушайте стихотворение Твардовского, которое я давно хотел прочесть со сцены:

Опять над ленинской страницей,
Несущей миру свет дневной,
Не мог в смущеньи отстраниться
От мысли каверзной одной.

Опять представилось в натуре,
Что самому бы Ильичу,
При нашей нынешней цензуре —
Молчу!..

Написано оно было где-то в конце 1960-х годов. Для меня это было удачное время: незадолго до этого я снялся сразу в двух фильмах: “Фокусник” и “Золотой теленок”. Для Твардовского, судя по всему, это было не очень простое время: его сняли с должности редактора “Нового мира”. Многое навалилось на него тогда». И, задумавшись, Зиновий Ефимович вдруг сказал: «Может быть, я жив до сих пор благодаря Твардовскому. Я не очень высокого мнения о своем Паниковском, но от Твардовского я несколько раз слышал не только похвалу фильму “Золотой теленок”, но и “аппетитный” смех по поводу этой моей работы. Так профессионально и глубоко, с таким пониманием мог отозваться только истинный кинокритик».

Общение с Гердтом сделалось для Твардовского особенно необходимым после того, как в сентябре 1970 года он, травмированный официальной критикой, перенес тяжелый инсульт, а через три недели — еще один. В своих воспоминаниях «Остановись, мгновение» писатель Григорий Бакланов, живший там же, на Красной Пахре, неподалеку от Гердта и Твардовского, рассказывает: «А вот Зиновий Гердт как будто ничего не старался. Он приходил, сильно хромя, спрашивал деловито:

— Так... кипяток есть? Помазок? Будем бриться.

И крепко мылил горячей пеной, не боясь голову сотрясти, брил как здорового (Твардовского. — М. Г.) и что-то рассказывал своим громким голосом. Обвязанный полотенцем, намыленный, а потом умытый, с лоснящимися после бритья щеками, освеженный, Александр Трифонович радостно смотрел на него, охотно слушал...»

В своих заметках о Твардовском Зиновий Ефимович пишет: «Мне кажется... что этот крестьянский человек, в жизни говоривший чуть-чуть с белорусским речением, был непогрешим в прозе и стихах, был аристократичен, будто дворянин двенадцатого колена. Он был сноб в прекрасном понимании этого слова, англичанин, дворянин. Одинаково говорил со мной, с комендантом поселка, с Хрущевым». В ту пору снятый со своего поста Никита Хрущев, добрый — и одновременно злой — гений «оттепели», жил недалеко от Пахры, на строго охраняемой казенной даче. Его сын Сергей Никитович вспоминал: «Однажды он попросил меня найти “Теркина на том свете” и почитать ему. Слушая эту поэму, Никита Сергеевич почему-то всплакнул и сказал: “А мне не очень просто было заставить редакторов напечатать эту поэму”».

Дальше Гердт вспоминает: «Мы ходили с ним по грибы. Он стоял во

дворе такой величественный и трезвый в пять часов утра. Лукошко, штаны, рубашка, посох. Прежде, чем идти, низко кланялся — это было как ритуал. И только вышли за пределы поселка — и открывалось поле, и купы деревьев, во всем взоре столько было широты, этот ландшафт существовал и пятьсот лет назад. А впереди — мой кумир».

Твардовский однажды похвалил Гердта за умелое исполнение стихов Пастернака: «Даже те, кому казалось, что не понимают Пастернака, теперь, уверен, отнесутся к его поэзии совсем по-другому». Услышав такой комплимент, Гердт прочел стихи самого Твардовского:

На дне моей жизни,
на самом доньшке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

Александр Трифонович похвалил Гердта, а тот заметил: «Мне кажется, это немножко придуманная профессия — мастер художественного слова. Публично читать стихи может только человек, перевосхищенный автором».

Гердт с Твардовским говорили не только о жизни, но и о смерти.

Зиновий Ефимович вспоминал: «После очередной из прогулок мы бесконечно провожали друг друга и конечно же читали стихи:

Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.

Я записал в тот день, дабы не забыть мысль Твардовского: “Тот, кто часто говорит о смерти — уже наполовину мертв”. Я же напомнил Александру Трифоновичу, что думать надо не о смерти, а о жизни. В этом заключается истинная вера в Бога».

И еще из воспоминаний Зиновия Ефимовича: «Как-то раз мы сидим на веранде — еще были живы Танины родители, — входит Твардовский, и у него в руках что-то плоское, завернутое в газету. Шуня, Танина мама, говорит: “Садитесь, Александр Трифонович, выпейте кофе”. — “Я-то кофе пил в шесть утра, а сейчас пол-одиннадцатого. Ну, не стану вам мешать”. И ушел. И когда он уже был около калитки, Таня ему говорит: “Александр Трифонович, вы оставили папочку”. И он, не оборачиваясь, вот так ручкой сделал. Знаю, дескать, не случайно оставил.

Мы развернули эту бумагу, газету. И там была пластинка “Теркин на том свете” в исполнении автора. И на портрете Василия Теркина, нарисованном Орестом Верейским, были написаны мне хорошие, совсем хорошие слова... В этот день меня поздравили со званием народного артиста. Подумаешь, что такое народный артист! А тут меня сам Твардовский похвалил, признался в каких-то чувствах!»

*

Среди людей, встречавшихся, друживших с Гердтом, был и талантливый харьковский поэт, бывший узник ГУЛАГа Борис Чичибабин. Его любили все, кто по-настоящему знал и чувствовал поэзию. Познакомились они с Гердтом во время поездки в Израиль в 1989 году. Но стихи Бориса Алексеевича Зиновий Ефимович любил и знал наизусть давно, еще когда они не печатались и распространялись в самиздате. В последние годы жизни Бориса Алексеевича, когда он часто бывал в Москве, они непременно встречались; чаще всего Борис Алексеевич ходил в гости к

Гердтам.

Я помню вечер Чичибабина в Некрасовской библиотеке. Мне посоветовал пойти туда Александр Петрович Межиров, попросив, если удастся, передать привет Борису Алексеевичу Чичибабину. И тут же, неожиданно, быть может, для себя, Александр Петрович прочел любимые мною стихи:

Бессмыслен русский национализм,
но крепко вяжет кровью человечьей.
Неужто мало трупов и увечий,
что этим делом снова занялись?

Еще Александр Петрович сказал: «Уверен, что на Чичибабина придет немало интересных слушателей». Уже во время вечера я услышал от кого-то: «Пришел Гердт». Но Зиновий Ефимович остался незамеченным где-то в конце зала.

Прошло какое-то время, и Чичибабин написал стихи, в которых выразил свое отношение к Гердту:

По голосу узнанный в Лире,
Из всех человеческих черт
Собрал в себе лучшие в мире
Зиновий Ефимович Гердт.

...В присутствии Тани и Лили,
В преддверье бастующих шахт.
Мы с ним нашу дружбу обмыли
И выпили на брудершафт.

Не создан для теплых зимовий
Воробышек — интеллигент,
А дома ничто нам не внове,
Зиновий Ефимович Гердт.

Я не раз в разговоре по телефону с Зиновием Ефимовичем возвращался к теме Чичибабина. Из рассказа Зиновия Ефимовича я узнал, что жизнь Чичибабина изменилась, когда он встретил свою настоящую

любовь, что напомнило мне встречу Гердта с Татьяной Александровной:

Возлюбленная! Ты спасла мои корни!
И волю, и дождь в ликовании пью.
Безумный звонарь, на твоей колокольне
в ожившее небо, как в колокол, бью.

О как я, тщедушный, о крыльях мечтал,
о как я боялся дороги окольной.
А пращурь души вдохнули в металл
и стали народом под звон колокольный...

От него же я узнал об отношении Чичибабина к эмиграции, точнее, к отъезду евреев в Израиль:

Дай вам Бог с корней до крон
Без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.

Рассказывал мне Зиновий Ефимович и об отношении Бориса Алексеевича к Твардовскому. В 1971 году поэт, уже гонимый за сочувствие к диссидентам, посвятил памяти Александра Трифоновича пронзительные строки:

...Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть...

Бывая в Переделкине, Зиновий Ефимович часто приходил на кладбище и всегда навещал могилу Бориса Пастернака. Возможно, стоя у памятника, он произносил строки Чичибабина из стихотворения «Пастернаку»:

...Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя

смеяться и плакать!

«Мы в Израиле так много общались, — рассказывал мне Зиновий Ефимович, — что все решили: дружба у нас давнишняя, а вправду я познакомился с ним только в самолете, когда мы летели из Москвы в Тель-Авив. Звонили друг другу часто, я из Москвы, он из Харькова. А уж когда он бывал в Москве — непременно приходил к нам».

Борис Алексеевич был среди тех, кто не мог примириться с распадом Советского Союза. Он откровенно плохо отзывался о тех, кто содействовал развалу СССР. Гердт повторял слова Чичибабина: «Я ненавижу эту власть, но если коммунистов станут убивать — я буду на их стороне... Быть на их стороне, когда их преследуют, — значит жалеть. У настоящего поэта есть такая мера жизни — прощение всех».

Не помню уж по какому случаю, но на каком-то из своих вечеров Зиновий Ефимович читал стихи Чичибабина. Среди них стихотворение, в котором рефреном звучали строки: «Не умер Сталин». Как мне известно, стихотворение это Чичибабин написал задолго до евтушенковского «Наследники Сталина». Другое дело, что читали его в ту пору очень немногие:

...Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север —
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, —
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, —
не умер Сталин...

Как близки душевно были Гердт и Чичибабин! Они остались вместе не только в книге «Гостевая виза», но и в памяти всех, кто их знал, кто любит и помнит.

Глава девятая «ПОЭЗИЯ НЕ ПРОПОВЕДЬ, А ИСПОВЕДЬ»

Зяма — это форма причастности каждого друг к другу.

Из письма Давида Самойлова

Среди друзей Зиновия Ефимовича, кроме Твардовского, Чичибабина, Слуцкого, были и другие замечательные поэты. Прежде всего это Давид Самойлов. Знакомство с ним состоялось еще до войны, в арбузовской студии, и продолжилось в 1960-х, когда Самойлов с женой Галиной Медведевой поселился в эстонском городе Пярну (Пернов).

Самойлов посвятил Гердту немало стихов. Даже письма писал иногда в стихотворной форме. Начнем с шуточного «Из города Пернова Зиновию Гердту»:

Что ж ты, Зяма, мимо ехав,
Не послал мне даже эхов?
Ты, проехав близ Пернова,
Поступил со мной хреново.

Надо, Зяма, ездить прямо,
Как нас всех учила мама,
Ты же, Зяма, ехал криво
Мимо нашего залива...

В «Поденных записях» Самойлова часто встречаются упоминания о Зиновии Ефимовиче. И всем, кто бы ни приезжал в Пярну в гости к Самойлову, Давид Самойлович задавал один и тот же вопрос: «Как там Гердты?» (именно Гердты, а не Гердт). Гердты незримо, но ощутимо присутствовали в доме Самойловых в Пярну. О них поэту напоминали даже безделушки, оставленные или забытые у него Гердтом:

...Ждал, что вскорости узрею,
Зяма, твой зубной протезик,

Что с улыбкою твоею
Он мне скажет: «Здравствуй, Дезик».

Посидели б мы не пьяно,
Просто так, не без приятства.
Подала бы Галиванна
Нам с тобой вино и яства...

Давид Самойлович, как ребенок, радовался напиткам, привезенным Гердтами из Москвы, и особенно обыкновенной московской водке. За рюмочкой крепкой «белой» они вспоминали московских друзей, по которым Самойлов скучал. Но главное в их разговорах сводилось к чтению стихов: оба они знали огромное их количество.

И через одно стихотворение возвращались то к Пушкину, то к Пастернаку.

...Мы с тобой поговорили
О поэзии и прочем.
Помолчали, покурили.
Подремали, между прочим.

Но не вышло так, однако.
Ты проехал, Зяма, криво.
«Быть (читай у Пастернака)
Знаменитым некрасиво».

И теперь я жду свиданья.
Как стареющая дама.
В общем, Зяма, до свиданья.
До свиданья, в общем, Зяма.

А вот еще одно письмо-стихотворение Давида Самойлова, посвященное Гердту:

Ты, Зяма, на меня в обиде.
Я был не в наилучшем виде.
Но по совету сердцевода:

Не верь, не верь поэту, деда!

Мой друг, считай меня Мазепой,
А если хочешь, даже Карлом.
Но в жизни, друг, — в моей нелепой —
Есть все же многое за кадром.

А там, за кадром, милый Зяма,
Быть может, и таятся драмы.
Прекрасная, быть может, Дама,
А может, вовсе нету дамы.

Там, Зяма, может быть, есть зимы,
Тоска, заботы и желанья,
Которые невыразимы
И недостойны оправданья.

И это дань сопротивленью
И, может быть, непокоренье
Тому отвратному явленью,
Название коему старенье.

И, может быть, сама столица,
Которую я вижу редко,
Сама зовет меня напиться.
Возможно, даже слишком крепко.

Возможно, это все бравада
И дрянь какая-то поперла.
Но мне стихов уже не надо,
И рифма раздирает горло...

Кто-то, кажется, Александр Моисеевич Городницкий, рассказывал мне, что в одной из бесед между Самойловым и Гердтом зашла речь о Николае Заболоцком — поэте, которого очень оба любили, читали вместе его стихи. Зиновий Ефимович прочел «Журавлей» Заболоцкого:

Вылетев из Африки в апреле

К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели.
Утопая в небе, журавли...

После этого Самойлов спросил: «А знакомо ли тебе стихотворение 1947 года?» Тогда Заболоцкий, только что вернувшийся из лагерного ада, написал стихи, посвященные жене Екатерине Ивановне, которая провела страшные годы блокады в Ленинграде. Вот строфа из этого стихотворения:

Взгляд ее был грозен и печален,
Но она твердила всякий раз:
«Помни, Катя, есть на свете Сталин,
Сталин позаботится о нас».

«Представляешь, Зяма, какие времена были!» Уж лучше приведем еще одно письмо Самойлова Гердту:

...Давай же не судить друг друга
И не шарахаться с испугу.
И это — лучшая услуга,
Что можно оказать друг другу.

И, может, каждая победа —
Всего лишь наше поражение.
Поверь, поверь поэту, деда,
И позабудь про раздражение.

После окончания Великой Отечественной войны рядом с Зиновием Ефимовичем оказалось немного друзей из довоенного периода. Как заметил в беседе со мной Исай Константинович Кузнецов: «Все ушли...» Но среди этих немногих оставался Давид Самойлов. Зиновий Ефимович вспоминал: «Я возлюбил заново Давида Самойлова, заново, хотя мы дружили с 1938 года, я помню его самое начало, он уже тогда резко отличался от той прекрасной довоенной плеяды молодых московских поэтов».

В жизни, да и в творчестве Гердта Давид Самойлович занимал особое

место, и переезд поэта из Москвы в Пярну не отделил их друг от друга, а еще больше сблизил. Подтверждением тому письма Самойлова Гердту: «Ты, Зяма, один из немногих людей в столице, живущих вне апокалипсиса. Это удивительное твое достоинство я необычайно ценю и хочу учиться у тебя».

А вот фрагмент еще одного письма: «Дорогой Зяма! К старости, что ли, становишься сентиментален. Твое письмо выжало из моих железных глаз слезу. И ты знаешь — надо отдаваться этому чувству. Это чувство живое, вовсе не остаточное. Самое удивительное, что это способны испытывать только мы. Нам кажется, что чувство дружбы, и поколения, и родства, и доброжелательства, и взаимной гордости — это так естественно. Но ведь последующие этого не испытывают. У них другие чувства, может быть, сильные и важные, но другие! А это НАШИ чувства».

Среди стихотворений Самойлова, посвященных Гердту, было и такое:

С неба дождик льет упрямо,
Землю мокрую долбя.
Почему-то, милый Зяма,
Нынче вспомнил я тебя.

Как печально жить в разлуке,
Как протяжен ветра вой.
И пленительные звуки
Не прольет мне голос твой.

У! Там мчится шарабанчик,
Колокольчиком бренча!
И ко мне тыходишь, Зямчик,
Свою ногу волоча.

Нет! Увы! Все та же греза
Провела меня опять.
И угрюмо и тверезо
Отправляюсь я в кровать.

А не то бы, милый Зямчик,
Ты приехал бы домой,
Снял бы с холоду азамчик,
Шкалик выпил бы со мной.

Здесь бы в городе Пернове
С нас бы все печали прочь,
И про давние любви
Толковали бы всю ночь.

Из рассказа Татьяны Александровны Правдиной: «Дезик и я часто вспоминали наш институт, вернее, дом, где располагались его, а потом мой — наши вузы. Мы ходили к метро “Сокольники” одними просеками, сидели в одних и тех же аудиториях, а через Павла Когана он знал и мою “англичанку” Нину Бать... (преподаватель английского языка из МИФЛИ. — М. Г.). Зяма знал все стихи Дезика, очень большую часть по памяти, и на протяжении всей жизни продолжал впитывать в себя новые. Он любил Самойлова наравне с Пастернаком, читал их всем, кто готов был слушать, стремясь поделиться своим восхищением...»

Под одним из лучших и самых известных стихотворений Самойлова также красуется посвящение «З. Г.»:

Повтори, воссоздай, возверни
Жизнь мою, но острее и короче.
Слей в единую ночь мои ночи
И в единственный день мои дни.
День единственный, долгий, единый,
Ночь одна, что прожить мне дано.
А под утро отлет лебединый —
Крик один и прощанье одно.

Случилось так, что и в последние минуты жизни Давида Самойлова Гердт был рядом с ним. В начале 1990 года поэт пригласил своего друга на вечер памяти Пастернака, который должен был состояться в Таллине 23 февраля. Татьяна Александровна вспоминает: «Зяма прочитал “Февраль”, еще что-то, из зала попросили: “Гамлета!” Едва он начал: “Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку...” — за кулисами раздался какой-то шум, Гердт обернулся, но продолжил: “Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня наставлен...” — но тут шум стал совсем громким и на сцену выбежала женщина с криком: “Давиду Самойловичу плохо! Доктор (увы, не помню имени), скорей!” Мы

с Галей, выскочив на сцену из четвертого ряда, побежали за кулисы. Доктор, сидевший чуть дальше, вбежал туда вместе с нами. Дезик лежал с закрытыми глазами на полу в гримерке, над ним склонился прибежавший со сцены раньше нас Зяма. Доктор щупал пульс, Галя наклонилась над Дезиком, и он вдруг открыл глаза и даже как-то спокойно, выдохнув, сказал: “Ребята, всё, всё... всё в порядке”. И опять закрыл глаза. Всё происходило молниеносно. Очень быстро приехала “скорая”, нас выгнали, мы ждали, стоя за дверью... Лучшая таллинская реанимационная бригада делала всё возможное. Через час доктора вышли, сами убитые горем...»

Прошли годы, и Гердт, вспоминая прощание с Самойловым, написал: «Когда этот рубеж наступит, нам не дано предугадать, как говорил Тютчев. Прощаться с такой долгой жизнью надо или очень подробно, или мгновенно. Самойлов был не только замечательный поэт, но и философ, мыслитель. Только он мог сказать: “Вот и все. Смежили очи гении... Нету их. И все разрешено”».

Зиновий Ефимович пережил своего друга на семь лет. Случилось так, что последним стихотворением, которое он читал со сцены (на своем юбилейном вечере), было «Давай поедem в город...» Давида Самойлова:

Давай поедem в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.
Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно...

Гердт, рассказывая о «второй волне» приятия им поэзии Самойлова, утверждал: «Там всё про меня. Пусть простит меня поэт, но я могу подписаться под каждой его строкой — это всё про меня. Может быть, потому, что мы принадлежим к одному поколению, может быть, потому, что самым главным в жизни и у него, и у меня была Великая Отечественная. Это роднит меня со многими сверстниками, и люди, прошедшие войну, мне как-то априорно близки. Самойлов выражает мою душевную жизнь в стихах, мое мироощущение. Это не означает, что я не люблю других поэтов, но без двоих я не могу практически прожить ни дня».

Татьяна Александровна пишет: «Дезик и Зяма дружили всю жизнь, до последней минуты, в прямом трагическом смысле этого слова...»

Глава десятая МОИ ВСТРЕЧИ С ГЕРДТОМ

*Тот, кто не видит мир в своих друзьях,
не заслужил, чтоб мир о нем услышал.*

И. В. Гёте

Однажды в 1988 году, встретившись с Зиновием Ефимовичем в Доме кино, я спросил его, есть ли у него среди сыгранных им ролей в кинематографе самые любимые. Со свойственной ему скромностью Зиновий Ефимович сказал: «Не могу ответить на ваш вопрос. Скажу лишь, что я гораздо чаще отказывался от ролей в кино, чем соглашался играть. А любимая моя роль? От автора — в роммовском фильме “Девять дней одного года”. Поверьте, что за экраном можно сыграть лучше и больше сказать, чем на экране», — и улыбнулся своей неподражаемо-печальной улыбкой.

Девятое февраля 1989 года. В этот день в Доме кино состоялся вечер памяти Соломона Михоэлса. Помню, что на этом вечере были дочери Михоэлса и все в ту пору еще живые актеры ГОСЕТа (Государственного еврейского театра). Вечер удостоил своим участием Иван Семенович Козловский, друживший с Михоэлсом. Я познакомил Гердта с Моисеем Соломоновичем Беленьким, в прошлом директором училища при еврейском театре, и с дочерью Михоэлса Натальей Соломоновной. Зиновий Ефимович сказал, обращаясь к Беленькому:

— Вы меня, наверное, не помните, но я вас вспоминаю на одном из вечеров в нашем театре. Вы были на спектакле «Леса шумят».

— Еще бы, ведь это спектакль о ваших земляках, о евреях — белорусских партизанах.

— Я не совсем из Белоруссии, но около. Я родом из Себежа.

Тут в разговор вмешался Козловский:

— Как жаль, что нет на этом вечере Соломона Михайловича! Знаете, что бы он спел?

— Думаю, что знаю, — и Зиновий Ефимович тут же напел на идише песенку о меламене, обучающем детей в хедере.

Я спросил Зиновия Ефимовича, не сплет ли он эту песенку со сцены.

— Нет, я буду читать отрывок из книги Канделя.

Готовили вечер Евгений Арье и Александр Левенбук. В тот день Гердт блистательно читал фрагменты из книги Феликса Канделя «Врата исхода нашего», а когда речь зашла о жестоком аресте соратника Михоэлса, замечательного актера Вениамина Зускина (его, больного, буквально на носилках унесли из Боткинской больницы в тюрьму, а потом расстреляли), зал замер в напряженной тишине: многие не в силах были сдержать слезы... Когда Гердт вышел за кулисы, аплодисменты еще долго не смолкали.

Чуть позже Зиновий Ефимович подошел к Ивану Семеновичу Козловскому и сказал: «Знаете, у меня никогда не было жажды аплодисментов, но сейчас случай особый — это не мне аплодируют, а Михоэлсу и Зускину. Зависть — вовсе не моя черта. Но вам завидую — вы так долго знали Соломона Михайловича и дружили с ним. Мне посчастливилось видеть его игру на сцене. Он был истинным зеркалом и эпохи, и своего народа...» Козловский задумался, потом сказал: «Хорошо, что мы дожили до сегодняшнего вечера. О Михоэлсе еще будут сняты фильмы, написаны книги. А вот этот молодой человек, — Иван Семенович представил меня, — написал монографию “Соломон Михоэлс”. Надеюсь, вскоре она выйдет в свет». Гердт протянул мне руку: «Буду ждать вашей книги...»

Потом все мы сидели в комнатке за сценой. Гердт, обращаясь к Козловскому, сказал: «Вы помните похороны Михоэлса?» Иван Семенович вспомнил многих из тех, кто был в Государственном еврейском театре в день похорон: «Помню слезы на глазах Образцова, рядом с ним стояли Сперанский, Самодур и еще кто-то. Еще я помню, что именно на похоронах Михоэлса я читал любимую им и мною поэму Уткина “О рыжем Мотэле”».

Тут Гердт вдруг стал читать стихи Уткина:

И дед и отец работали.
А чем он хуже других?
И маленький рыжий Мотэле
Работал
За двоих.
Чего хотел, не дали.
(Но мечты его с ним!)
Думал учиться в хедере,
А сделали —
Портным.

Немного задумавшись, внимательно посмотрев на меня и Зиновия Ефимовича, Иван Семенович продолжил:

Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет!
И он ставил десять заплаток
На один жилет.
И...
(Это, правда, давнее,
Но и о давнем
Не умолчишь.)
По пятницам
Мотэле давнэл,
А по субботам
Ел фиш.

А потом они стали декларировать вместе:

Сколько домов пройдено.
Столько пройдено стран.
Каждый дом — своя родина,
Свой океан.
И под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба, —
Свое счастье,
Свои мышцы,
Своя судьба...

Зиновий Ефимович сказал: «Я мало был знаком с Эдой Берковской, женой Зускина, и совсем не знал его дочь Аллу. Уже позже я прочитал в ее книге “Путешествие Вениамина”: “Театр целый год агонировал. Меня все это время мучили, изводили, издевались, директор и многие товарищи меня не узнавали”... Впервые после гибели Зускина я, Елизавета Моисеевна Абдулова, Моисей Беленький и еще многие, знавшие Михоэлса и Зускина, 12 августа 1956 года собрались у могилы Михоэлса на кладбище Донского крематория. И сейчас слышу слова Эды Соломоновны: “Какая это была

идеальная актерская пара. Боже милостивый! Уж если кто жил еврейским театром, искусством своего народа, то, конечно, они”». Помолчав, Зиновий Ефимович произнес: «Какая страшная трагическая судьба у обоих! Уверен, что в моем сердце гордость за этих замечательных актеров, писателей, деятелей искусства сохранится навсегда».

Вновь на минуту задумавшись, Гердт сказал: «Хочу прочесть стихотворение Дины Покрасс, оно называется “Заглядывая в прошлое”»:

Не простили тебе, не простили
Твой пророчески мудрый смех.
Вымыслом пошло прикрыли
Преступленье — убийства грех.

Ночь. Мороз. А на Малой Бронной
Грозный ропот спаял людей...
В гневной очереди похоронной
Обреченность твоих палачей.

Как давно, как недавно все было...
Есть Израиль среди прочих земель.
Нет, Михоэлс, тебя не убили,
Ты с народом взошел в Израэль!

Вторая моя встреча с Зиновием Ефимовичем произошла летом того же 1989 года в гостинице «Метрополь» на приеме, устроенном посольством Израиля в честь Шимона Переса, в то время назначенного министром иностранных дел Израиля. Как известно, многочисленные репатрианты из России сыграли заметную роль в этих выборах: большинство из них поддержало партию Рабина и Переса «Авода». Говорили, что значительную поддержку избирательному блоку Ицхака Рабина оказали Михаил Козаков, поэт Игорь Губерман и другие. Как бы там ни было, но руководители обоих блоков, Рабин и Ицхак Шамир, договорились, что руководить правительством будут поочередно.

На этом приеме были Гердт с Татьяной Александровной, и я подарил Зиновию Ефимовичу свою книгу «Соломон Михоэлс». Он не скрывал своей радости по этому поводу. Поблагодарил, с любовью погладил обложку книги, на которой был портрет Михоэлса. Обещал позвонить после прочтения и слово свое сдержал. Не буду воспроизводить нашу

беседу, замечу лишь, что артист сказал: «Знаете, когда я читал в вашей книге страницы о детстве Зускина, мне показалось, что вы писали обо мне. Я в детстве, как и Зускин, разыгрывал своих знакомых, делал это с особым удовольствием и, кажется, достаточно мастерски. Знакомые узнавали себя. В глубине души я очень хотел этого, радовался».

А вот из записей самого Зускина «Жизненный и сценический путь» (из книги «Путешествие Вениамина»): «Шести лет я в первый раз попал на спектакль приехавшей в наш город еврейской труппы. Впечатление было колоссальным. Вскоре моим любимым развлечением стало устраивать театр (в доме или в сарае), представлять. Вага, валявшаяся в нашей мастерской в большом количестве, служила мне для бороды, а кухонный уголь — краской. Когда в город приезжали еврейские труппы, я пропадал из дома на целые дни. Помогал актерам в подыскании квартир, реквизитору и бутафору — в добывании нужных им вещей, с радостью исполнял всевозможные поручения и за это мог посещать спектакли».

В тот же день я услышал от Зиновия Ефимовича рассказ о его родном Себеже: «Это недалеко от Витебска и Паневежиса, где прошло детство Шагала и Зускина. Когда-то наш уездный городок Себеж даже числился в Витебской губернии...» Что-то невыразимо общее оказалось не только в судьбах Зускина и Гердта, но и в их трепетном отношении к театру, их нетерпимости к халтуре и самохвальству.

Я едва сдержал желание подробнее расспросить Зиновия Ефимовича о городе его детства и еще о многом. Мы договорились, что обязательно встретимся. «Какие наши годы!» — бодро сказал Зиновий Ефимович.

На одной из встреч, 7 мая 1994 года на приеме по случаю Дня независимости Израиля, я беседовал с Гердтом дольше обычного. Попросил разрешения брать у него интервью «в рассрочку» — по пять минут в течение многих лет. «Вы самый неназойливый журналист из тех, кого я знаю», — пошутил Зиновий Ефимович.

Еще одна моя «встреча» с ним оказалась виртуальной. Произошла она далеко от Москвы. Осенью 1992 года я ездил по местечкам Украины, собирая материал для своей книги «Еврейская мозаика». Как-то оказался в местечке, вернее бывшем местечке Шаргород в Подолии. Брожу по улочкам, переулкам и вдруг вижу окно, в котором, как в магазинной витрине, висят фуражки и кепки какого-то особого покроя. Я конечно же остановился, постучал в дверь — не вызывало сомнения, что в доме живет мастеровой-еврей. Мой стук, даже настойчивый, ни к чему не привел. Я постучал в окошко. Выглянула пожилая женщина и сказала: «Если вам что-то нужно, зайдите в дом». Она открыла дверь и, даже не пригласив меня

войти, с порога сообщила, что сегодня суббота и ничего продаваться не будет.

— Если вы хотите приобрести себе что-то на голову, приходите вечером или завтра утром. По вашему виду я вижу, что вы не ямпольский и даже не шаргородский, но вы точно еврей. Вокруг осталось так мало евреев, что я знаю всех в лицо. А вы откуда будете?

Я сообщил, что когда-то жил в Бершади, сейчас фотографирую оставшиеся еврейские местечки. Мое сообщение особого впечатления на хозяйку не произвело.

— Но в нашем доме вас, наверное, заинтересовали головные уборы? — спросила она, окинув меня внимательным взглядом. — Я вижу, что вы, скорее всего, из Одессы. Я угадала? Ах, из Москвы! Залман, иди сюда! Здесь пришел интеллигентный покупатель из Москвы. Он что-то хочет.

В комнату вошел старик высокого роста с огромными «буденновскими» усами. Не поздоровавшись, он заговорил:

— Вы хотите иметь кепку моей работы? Я вас хорошо понимаю. Я не только последний «шаргородский казак», но и последний шапочник в местечке. Многие уехали в Палестину, кто-то просто умер. Палестина сейчас называется Израиль, но мой папа, мир его праху, называл эту землю Палестина и очень хотел туда поехать... Э, да я вас заговорю. Если вы что-то можете выбрать из готового товара, пожалуйста. Если нет, приходите завтра утром, я сниму мерку с вашей головы, и пока вы почитаете «Винницкую правду», у вас будет готов замечательный головной убор. Когда вас спросят в Москве, где вы его взяли, скажите, что у Залмана из Шаргорода, на улице Советской. Так вы сами будете из Москвы? В прошлом году у меня был один интересный клиент, тоже еврейский человек из Москвы. Он был такой маленький, что я нагибался вдвое, чтобы с ним говорить. Он был с женой, высокой красивой женщиной. Когда этот человек узнал, что меня зовут Залман, он очень обрадовался и сказал, что в детстве его тоже звали Залман. Я пошил ему такую кепку, что ни в Ямполье, ни в Виннице, ни в Москве нет второй. И денег у него не взял. Вы можете подумать, что я богатый человек и мне не нужны деньги. Еще как нужны! Я ведь местечковый капцан (бедняк. — М. Г.). Но он мне сказал: «Вся жизнь человека проходит в поезде, который везет нас в лучший из миров. И идет этот поезд только в одну сторону. Есть ли жизнь за последней остановкой — я не знаю. Не уверен. Но жить надо так, как будто за последней остановкой начнется новая, вечная жизнь, и тогда не страшно умирать...» Ну скажите, после таких умных слов мог я взять деньги за свою работу? Конечно нет!

Почему-то в этом клиенте моего нового знакомого мне почудился Зиновий Гердт, хотя как попал он в эти места, зачем и почему, в тот момент я понять не мог. Перечитывая свои записи, я позвонил вдове Зиновия Ефимовича. К моей радости, я оказался прав! Татьяна Александровна рассказала мне, что летом 1991 года они с Гердтом были на съемках фильма «Я — Иван, ты — Абрам». Фильм снимала французская кинематографистка Иоланда Зоberman в маленьком местечке Чернивцы, затерявшемся где-то между Ямполем и Шаргородом. От кого-то из местных жителей Зиновий Ефимович узнал об этом еврее, знаменитом мастере по пошиву кепок. В свободный от съемок день они с женой отправились в Шаргород. А остальное было примерно так, как рассказано выше.

Сам франко-белорусский фильм «Я — Иван, ты — Абрам» особого следа в творческой биографии Гердта не оставил. И это притом что там снимались такие замечательные актеры, как Владимир Машков, Александр Калягин, Ролан Быков, Армен Джигарханян и конечно же сам Гердт. Продюсерами фильма были Жан-Пьер Дюре и Доминик Хеннеки — «новые французы», выходцы из Подолии. Им хотелось рассказать не только о событиях 1930-х годов, но и запечатлеть на пленке места, где они родились, где прошло их детство.

Гердт играл в фильме как бы самого себя: его героя звали Залман. Но речь шла не о нем, а о двух подростках, выросших в местечке в Подолии, которая входила тогда в состав Польши. Один из них — Иван, второй — Абрам. Они совершают побег из родных мест, чтобы избавиться от диктата взрослых. На их розыски отправляются сестра Абрама Рахиль и ее жених, коммунист-подпольщик Арон. Надо ли говорить, что побег не увенчался успехом? Грустный конец фильма во многом определил его незавидную судьбу в прокате. Тем не менее лента «Я — Иван, ты — Абрам» дала возможность актерам, в ней участвовавшим, провести вместе счастливые дни, которые запомнились всем участникам съемок. Особенно потому, что вскоре прекратил свое существование Советский Союз и его разрезанный по живому новыми границами кинематограф вступил в полосу глубокого кризиса. Это отразилось и на творческой судьбе Гердта: за оставшиеся ему шесть лет жизни он снялся в десяти фильмах, но зрители их практически не видели — кино-и телеэкраны страны заполнила импортная продукция невысокой пробы. Поэтому о творчестве артиста мы по-прежнему судим по картинам 60— 70-х годов — «Золотой теленок», «Тень», «Соломенная шляпка» и множеству других, включая и менее известный фильм, о котором пойдет речь дальше.

Глава одиннадцатая **ФОКУСНИК В ФОКУСЕ**

Это добрый фильм.

Режиссер С. Герасимов о «Фокуснике»

В этой главе речь пойдет об одном из самых замечательных фильмов с участием Гердта — о фильме Петра Тодоровского «Фокусник», снятом в 1967 году по сценарию Александра Володина. Он знаменателен еще и тем, что в нем Зиновий Ефимович единственный раз в своей кинокарьере сыграл главную роль.

Когда этот фильм был смонтирован, тираж его составлял всего 40 экземпляров — ничтожно мало для огромной страны. Однако все, кто сумел посмотреть картину, оценили ее высоко. Трогательный герой Гердта Виктор Михайлович Кукушкин вызывал не только симпатию, но и сопереживание. И тем не менее нашлось немало критиков, обвинивших фильм в «мелкотемье»: ведь Кукушкин не ковал сталь, не выращивал зерно, а занимался каким-то несерьезным делом — показывал фокусы. Да и в этой сомнительной сфере, где нет места трудовому героизму, он не разоблачал врагов, не боролся с бюрократизмом начальства — нет, он позволил себе влюбиться! «Фокусник» был просто обречен на критику и замалчивание. Критиковали и исполнителя главной роли. Между тем незадолго до этого небольшая роль в фильме «Городской романс», где Гердт сыграл героическую роль ветерана, участника фронтовой самодеятельности, была встречена совсем иначе: актера удостоили множества похвал.

Петр Тодоровский вспоминал: «В 1967 году мы с Зямой снимали фильм “Фокусник” по сценарию замечательного драматурга и еще более замечательного человека Александра Володина... В работе над этой картиной я прошел большую школу, потому что сама форма притчи побудила меня к поискам соответствующих художественных средств».

Сначала Гердту была предложена небольшая роль сатирика, но потом режиссер неожиданно изменил свои планы. Почему? Предоставим слово самому Петру Ефимовичу: «Наше знакомство произошло совершенно случайно. Хотя что бывает случайно в этой жизни? Ведь случайность, как нас учили классики, — это часть закономерности. Подхожу как-то к проходной студии и вижу: навстречу мне идет сам Гердт, которого я, конечно, знал и как замечательного эстрадного артиста, и как знаменитого

кукольника, а уж после фильма “Фанфан-Тюльпан”, где его закадровый, ни на чей не похожий, притягивающий своим интимным обаянием голос придал фильму типично французский шарм, а его интонация как нельзя лучше соединилась с жанровым решением всего фильма, Зиновий Гердт стал знаменитым на всю страну».

А вот как вспоминает об этом Татьяна Александровна Правдина:

«С Петей Зяма познакомился очень просто. Тодоровский решил ставить фильм по сценарию Александра Володина. Выбрав Зяму на роль сатирика (ту, что потом сыграл Владимир Басов), Петя оставил на служебном входе театра Образцова сценарий для него. Прочитав дома сценарий, Зяма вручил его мне. Закончив чтение, я сказала: “Мне кажется, ты должен играть здесь совсем не сатирика. Ты — этот самый фокусник”.

Услышав эти слова, Зиновий Ефимович без репетиций прочел полностью стихотворение Вадима Шефнера «Выпускающий птиц»:

В квартире одной коммунальной,
Средь прочих прописанных лиц,
Живет пожилой и печальный
Чудак, выпускающий птиц.

Соседи у рынка нередко
Встречают того чудака —
С большой самодельною клеткой
Стоит он у зоолярька...

«Эти стихи, — сказал он, — мог написать только человек, воевавший в годы войны под Ленинградом, поэт, для которого “дачные сосны” стали неотъемлемой частью жизни. Я знал такого человека, но сейчас его, наверное, уже не найти. Он вырос в этом городе, все его творчество связано с Ленинградом. Стихи, которые я тебе сейчас прочел, я готовил к какому-то выступлению, но, кажется, оно так и не состоялось». Замолчав и на минуту задумавшись, Гердт продолжил чтение стихотворения Вадима Шефнера:

А все же душа не на месте,
И радости нет в тишине:
Без вести, без вести, без вести
Пропал его сын на войне...

Отыщет старик не впервые
Пехотной дивизии тыл,
Где встали цветы полевые
На холмиках братских могил.

Но где преклонить ему взоры.
Куда ему сердцем припасть,
Где холмик найти, над которым

Он мог бы наплакаться всласть?..

В какой-то из воскресных дней Петр Ефимович, Татьяна Александровна и Зиновий Ефимович решили поехать в те места, куда, по их понятию, ездил «выпускающий птиц». Оказавшись за городом, они дружно вышли из электрички и медленно пошли по лесной тропе. Когда исчез след электрички, наши туристы остановились. Проводив взглядом уходящую электричку, Зиновий Ефимович продолжил чтение стихотворения Шефнера:

Он с клетки снимает тряпицу,
Потом открывает ее, —
Молчат присмирившие птицы
И в счастье не верят свое.

Но крылья легки и упруги,
И радость растет на лету —
В каком-то счастливом испуге
Взмывают они в высоту.

Летят над землею зеленой,
Летят без дорог и границ,
И смотрит на них умиленно
Старик, выпускающий птиц.

Читал ли Гердт эти стихи авторам фильма? Наверное, так как Александр Моисеевич Володин любил и ценил творчество Шефнера. И, вероятно, Тодоровский тоже.

Петр Ефимович вспоминает, как однажды, подъехав к театру Образцова (тогда он еще находился на Тверской. — М. Г.), попросил ассистента по актерам узнать, прочел ли Зиновий Ефимович сценарий и готов ли он к разговору с ним. Неожиданно распахивается дверь театра и без головного убора, в одном пиджачке, ступая по скрипучему снегу, к машине направляется Гердт.

«Мы беседовали долго, — вспоминал Тодоровский. — Зиновий хвалил сценарий, восторгаясь замечательно выписанной ролью главного героя, завидовал актеру, которому будет предложена роль фокусника». И тут Петр Ефимович спросил: «Зачем вам играть этого сатирика? Вам надо играть фокусника!»

Тодоровский рискнул — дал Гердту роль человека, ни на кого не похожего, человека странного, необыкновенного, словом, очень близкого к тому, каким он был создан Володиным. И снова слово Гердту: «У меня был какой-то необыкновенный подъем только оттого, что мне это предложили, вопреки, вероятно, суждениям многих инстанций, которые тоже исходят из сложившегося стереотипа. Режиссер этот стереотип разрушил, играть мне было необыкновенно легко, как будто я стремился к этому всю жизнь».

Однажды на вопрос одного из зрителей: «Веселый ли вы артист?» — Гердт ответил: «Я совсем не веселый артист, не развлекающий артист, хотя и занимаюсь смешным всю жизнь. Так получилось. Судьба...» Тем не менее и роли в кино, и работа в кукольном театре создали у многих режиссеров мнение, что Гердта нужно звать только на «смешные» роли. Петр Тодоровский первым попытался это мнение разрушить — и не раскаялся в этом.

В беседе с корреспондентом «Литературной газеты» 27 декабря 1967 года Гердт сказал: «Во время съемок мне порой казалось, что я проявил непростительное легкомыслие, соглашаясь играть столь сложный характер. И теперь еще волнуюсь — каким он получился на экране, мой Кукушкин? Ведь в этом образе заложен смысл всего фильма, повествующего о человеческой доброте, любви к людям, душевной щедрости».

А между тем фильм получился грустный, даже печальный. Его создатели, талантливые художники-шестидесятники — Марлен Хуциев, Петр Тодоровский, Александр Володин — показали на экране не выдуманную, а настоящую жизнь. Сценарий был озаглавлен по-другому (может быть, это название было более точным): «Загадочный индус». В нем

рассказана история о том, как иллюзионист Кукушкин поверил в позднюю любовь, но вера эта, «что само по себе и не ново», не оправдалась. Его избранница, которую сыграла блистательная Алла Ларионова, не нашла в себе сил связать жизнь со странным, благородным, несовременным человеком, вновь — и теперь уже окончательно — обрекая его на одиночество.

По словам Петра Тодоровского, «фильм был о человеке, который готов потерять в жизни всё: работу, прекрасную женщину и, может быть, даже собственную дочь, но сохранить свое человеческое достоинство (что резко не понравилось прошлому кинематографическому начальству!), оставаться самим собой, быть верным своей жизненной платформе». Многие для понимания роли дало Гердту знакомство с автором сценария Александром Володиным, который дал своему герою многое от себя, от своего отношения к жизни. Тодоровский вспоминает: «Знакомство Зиновия Ефимовича с автором сценария Александром Володиным произошло в Ленинграде, в разгар съемок фильма. По случаю такого события мы втроем зашли ко мне в гостиничный номер, на стол была поставлена бутылка армянского коньяка... Естественно, пошли разговоры о характере главного героя. Кто он? Что собой представляет как личность, какова его жизненная позиция и, конечно, его отношение к женщинам?..

Не помню уже, кто из них первый, кажется, Володин, начал читать Пастернака: “Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь...” Неожиданно Гердт подхватывает: “Не надо заводить архивы, над рукописями трястись...” — уже в два голоса декламируют автор сценария и актер, играющий главную роль. Дальше были только стихи. Взахлеб, перебивая друг друга, стоя они читали Заболоцкого, Мандельштама, Цветаеву, Самойлова... Разгоряченные, словно пронизанные вспышкой молнии, как это случается при любви с первого взгляда, они упивались поэзией, радостью узнавания друг друга... Я сидел с разинутым ртом, лишь успевая переводить взгляд с одного на другого, и понимал: это было начало большой человеческой дружбы». И действительно, Александр Моисеевич и Зиновий Ефимович дружили до смерти Гердта — Володин пережил его на пять лет.

Очень важный, быть может, главный вопрос, поставленный в фильме сценаристом, но более всего режиссером Тодоровским — это вопрос о том, на чем должны основываться взаимоотношения между людьми, то есть что такое истинная дружба. По мнению автора фильма, главный герой его под уважением понимает прежде всего отношение к достоинству, к независимости личности. Он не раз высказывает мысль о том, что истинно

добрые дела должны твориться только по зову души, по велению сердца. В это по-настоящему верят и автор сценария Володин, и режиссер фильма Тодоровский, и конечно же актер, сыгравший главную роль, — Зиновий Гердт.

Классик советского кино Сергей Герасимов говорил о фильме: «Я принадлежу к той категории зрителей, которым эта картина решительно нравится. Сильное впечатление произвел на меня последний эпизод, когда Кукушкин показывает свои фокусы на бульваре случайным зрителям, детям. Это логически замыкает всю цепь интересных размышлений художника. Есть для меня в картине удивительное открытие. Тодоровский как режиссер и вдохновитель изобразительного решения фильма (это и не мудрено — мы знаем его как талантливого оператора) проявил себя уже в предыдущих своих лентах. Здесь же привлекает его работа с актерами.

Ларионова — моя ученица. Я наблюдаю за ней с появления в институте до последних фильмов, в которых ее больше “фотографировали”, используя ее внешние данные. В этой картине у нее истинно художественное выступление. Ларионова искусно скрыла подлинный характер героини, даже в самом конце фильма, когда от нее уходит Кукушкин, у зрителя теплится надежда, что все еще уладится. Мне рассказывали авторы, что героиня должна была снова встретиться с фокусником, так было в сценарии. В подобном конце был большой соблазн, но авторы избрали другое решение, и я думаю, что фильм от этого стал более острым».

Ветеран советского кинематографа режиссер Лео Арнштам очень тепло говорил о картине и о том, что Тодоровский оказался смелым режиссером, потому что взял на главную роль Гердта, человека с такой «негероической» внешностью. Лео Оскарович сказал, что его покорила и удивил Гердт — «этот грустный, внутренне очень сложный человек. Он полюбится людям, которые посмотрят этот фильм... Некоторые сомневались, зачем тащить на экран такого странного, немножко искалеченного, травмированного физически и духовно чудака, каким предстает герой фильма Кукушкин. Володин не только ищет поэзию в простой, обыденной жизни, он художник, воспевающий талант в человеке... В этом же фильме Володин обрел своего режиссера. Тодоровский создал не просто хорошую картину, но и очень сложную, потому что шел совершенно непроторенным путем».

Рассуждая о фильме, Арнштам не случайно вспомнил незатейливый рассказ Анатоля Франса «Жонглер Богоматери». В одном соборе был замечен человек, который приходил туда с шарами и проделывал различные

упражнения перед образом Богородицы. Когда этого чудака задержала полиция, он объяснил, что любит Богородицу и так как ничего лучшего, чем упражнения с шарами, делать не умеет, то свое искусство и приносит ей в дар. «Мне думается, что и “Фокусник” — один из вариантов этого старинного рассказа», — сказал Арнштам. Может быть, эти слова для кого-то станут приглашением к просмотру этого почти забытого сегодня фильма — единственного, напомним, из 76 фильмов Зиновия Гердта, где он сыграл главную роль.

Глава двенадцатая НЕ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫЙ ФИЛЬМ

Может быть, я жив до сих пор потому, что Твардовский от души смеялся над моим Паниковским.

Зиновий Гердт

В 1966 году Михаил Швейцер и Софья Милькина приступили к съемкам фильма «Золотой теленок». Софья Абрамовна уговорила Михаила Абрамовича пригласить на роль Паниковского Зиновия Гердта. Швейцер уже попробовал на эту роль одного известного актера — Ролана Быкова, но остался недоволен. К слову сказать, именно Быков, выпускник Щукинского училища, привел Гердта на большой экран: он первый снял его в своих «Семи няньках» в 1962 году. До этого Зиновий Ефимович в кино не появлялся, хотя иногда читал авторский текст за кадром.

О кинопробах рассказывает Михаил Абрамович Швейцер: «Как только Зяма вышел на съемочную, сел, вздохнул, начал кряхтеть, мне стало ясно, что это не просто актер, который подходит на роль Паниковского, а нечто взятое прямо из жизни. Он был немедленно утвержден на роль, и мы мгновенно подружились». А вот что вспоминает Милькина: «Боже, что это было! Была неотразимая правда жизни. Совсем без старания и напряжения».

По мнению Швейцера, Паниковский оказался таким живым и настоящим потому, что был взят не из одесского анекдота, а из реальной российской жизни: «Вот почему люди, даже не отдавая себе отчета, так хорошо воспринимают этот образ и по сей день. Никакой одесский анекдот не просуществовал бы так долго, если бы за всем этим не проглянула некая судьба своего времени и своей родины. Не знаю, правда ли то, что Зяма не был доволен тем, что страна его запомнила прежде всего Паниковским, но в любом случае бесполезно сетовать или не сетовать, быть довольным или не быть довольным тем, что твоя популярность складывается из материала менее серьезного, чем тебе хотелось бы, что ты прославился не в Шекспире и не в Достоевском...»

Обращение Швейцера к роману Ильфа и Петрова вполне объяснимо. Режиссер, с успехом снявший «Крейцерову сонату» и «Воскресение», захотел попробовать свои силы в жанре комедии. «Золотой теленок» с его комическими диалогами, мгновенно разобранными на цитаты, и смешными

образами героев предоставлял для этого прекрасную возможность.

Впрочем, можно ли образ Паниковского отнести к смешным? Вот как размышляет об этом Софья Милькина: «Был Паниковский — часть живой русской жизни. Вобравший в себя всю эту многосложную киевскую жизнь (Киев тогда был тоже — Россия; и Российская империя сверкала серебряным самоваром на столе Михаила Самуэлевича). Была яркость, была мера, была сама жизнь, но еще ярче, еще живее самой жизни. Ни грамма притворства, ни грамма “игры”, ни миллиграмма нажима. Была высокая эксцентрика, ни на йоту не переступающая границ достоверности. Гердт аристократически естествен. Просто он близко знал этих людей и эту жизнь, подлежащую воскрешению из литературы обратно в реальность».

Без сомнения, и в Себеже, и в Москве 1930-х годов Гердт не раз видел таких вот Паниковских, выброшенных революцией на обочину жизни, ненужных, нелепых. Часто они были не в ладах с законом, но выглядели при этом не пугающими, как настоящие уголовники, а жалкими и даже трогательными. Созданный Зиновием Ефимовичем образ зрители называли «стопроцентным попаданием». Точнее всего об этом сказал Михаил Ульянов: «Когда я читал книгу “Золотой теленок”, я именно таким и представлял себе Паниковского. Именно с такой ногой, с таким баритоном бывшего барина... Именно такой конфликт Паниковского с миром мне и представился между строк... И когда ты видишь настолько снайперское попадание актера в роль, то радуешься еще больше!.. Радуешься и за него, и за себя, и за Ильфа и Петрова, за это негласное “единение”, за родство представлений». И снова размышления Софьи Милькиной: «Так воскрес из книги и живет, и будет жить Паниковский. Так и сам Гердт будет веселить и трогать, и утешать своей непокорной искренностью, нелживостью и печалью искусства миллионы мятущихся сердец».

Наверное, Гердту так удался образ Паниковского в «Золотом теленке» еще и потому, что он усмотрел в нем человека свободного. И это чувство свободы толкало его на ту жизнь, которую он прожил. Быть может, точнее других сказал об этом сам Михаил Абрамович: «В случае с Паниковским, которого Зяма исполнил легко и гениально, вся страна его запомнила именно по этой роли потому, что он вывел этот персонаж, как мы пытались вывести всю картину, из уровня анекдотичности на уровень узнаваемой реальности».

У самого Гердта отношение к роли Паниковского было сложным. Наверняка его раздражало, что многие видели в нем исключительно «человека без паспорта» из «Золотого теленка». Бывали случаи, когда не слишком культурные граждане встречали его на улицах криками: «Во,

гляньте, Паниковский идет!» — так же как Фаину Раневскую доводили до белого каления фразой: «Муля, не нервируй меня!» И все же о своем герое артист вспоминал долгие годы, а со Швейцером дружил до конца дней своих.

Михаил Швейцер писал: «Кинорежиссеры очень зависимы от стечения обстоятельств, в смысле работы. Когда мы работали в Ленинграде, у меня по бедности не было пальто. Ходил в чем попало... И вот Зямка подарил мне шубу. Такую роскошную, бежево-белую, из искусственного меха. Она была не просто необычной, а жутко пижонской!.. Зяме она была велика, а мне пришлось в самую пору. Но эту шубу ожидала жуткая участь. Примерно через год я поехал в ней в Магнитогорск собирать материал для документального фильма о металлургах. И пока я ходил в этой шубе по литейному и доменному цехам, она из бежевой превратилась в черную. Но не в благородно-черную, а в беспризорно-страшное одеяние. Ни одна химчистка ее, разумеется, не взяла. Таким образом, Зяма, как Паратов, как щедрый русский купец, бросил с барского плеча шубу, а я, как бестолково-нелепый Карандышев, угробил ее почем зря...»

Обращение к роману Ильфа и Петрова диктовалось для Швейцера и личными причинами. Он дружил с Валентином Катаевым, братом Евгения Петрова, и незадолго до «Теленка» снял фильм по роману Катаева «Время, вперед!». Вот что писал об этом журналист Ф. Слухов: «Нельзя утверждать, что к “Золотому теленку” Швейцер пришел внезапно: это кино можно рассматривать как продолжение темы фильма по книге Катаева “Время, вперед” (режиссерами которого также были Швейцер и Милькина). Как и знаменитые писатели Ильф и Петров, зритель не хочет расставаться с Бендером, с “Двенадцатью стульями”. Герои романа на что-то продолжают надеяться. Но все уходит в песок пустыни, по которой Корейко едет на верблюде. И все же образ бегущего времени, даже победоносный ритм его в “Золотом теленке” совсем не такой, как во “Времени вперед”. Швейцер очень умело и даже удачно включает в свой фильм хронику времени, а удача эта в значительной мере обусловлена Паниковским, которого блистательно (не щадя себя, по мнению многих обозревателей) играет Гердт».

Сам Швейцер в одном из интервью заявляет: «Я хочу увидеть “Золотого теленка” в его первоначальных пропорциях глазами его авторов...» При этом он то и дело отступал от «канонического» текста романа. Снова обратимся к статье Слухова: «Так где же началось отступление от балагана к драме? В том самом месте, где в ответ на шутку Шуры Балаганова Бендер хмыкает: “Он еще острит! Он — Ильф и Петров”. Возможно, именно

здесь! Дело не в том, что этой фразы нет у сатириков. Ведь нет же у них сцены, в которой Остап небрежным жестом выдает за профсоюзную какую-то книжечку и получает пиво. Сцена эта оказалась типичной для Бендера, хотя, напомним, в романе в этой ситуации Остап удовлетворяется квасом».

Заметим, что после нововведений Швейцера киногерой еще больше отступил от текста Ильфа и Петрова, но это скорее улучшило фабулу фильма. «Это не обычная острота знакомого нам Бендера — веселого, но в общем-то недалекого “великого комбинатора”, который, не оглядываясь по сторонам, топает не в ногу со временем. В кино Остап — совместное детище Швейцера и Юрского — предстает вдруг фигурой, в которую хочется всмотреться пристальнее», — пишет Слухов.

«Принято считать, что содержание книги “Золотой теленок” преисполнено юмора, — продолжает журналист. — И все же, не всегда зрителям “до смеха”. Можно ли хохотать над тем, как Паниковского, взяв за руки и за ноги, сбрасывают с крыльца? Зрители, глядя на эту сцену, все же смеются. И это потому, что авторам фильма и, прежде всего, Михаилу Швейцеру удалось сохранить дух творения Ильфа и Петрова. Правда, Остап Бендер (еще бы, могли сыграть по-иному рафинированный Юрский! — М. Г.) кажется интеллигентней, чем в самом романе. И еще одна, на наш взгляд, находка Юрского-Бендера: он блистательно показал, что не деньги его интересуют, не богатство, а процесс добывания денег, требующий преодоления многих больших трудностей.

Конечно, Бендер не перестал быть авантюристом, жуликом, но создатели фильма наделили его остроумием, энергией, упорством достижения целей.

Юрскому удастся сыграть Остапа Бендера, вызывающего даже симпатию зрителя. Во всяком случае, мечта героев фильма о “своем миллионе” кажется не только сбыточной, но, прежде всего, ненужной.

Так и хочется верить, что Остап Бендер найдет свое место в рядах истинных тружеников. Он непохож на “подпольного миллионера” Корейко — последний вызывает у зрителя антипатию (Корейко в фильме сыграл Евгений Евстигнеев. — М. Г.).

Роль Паниковского, созданная Гердтом, исполнена блестяще. Зритель смеется над ним. Дело не только в украденном гусе: драма, а скорее, трагедия в том пути, который выбрали для себя сыновья лейтенанта Шмидта. И зритель конечно же не догадывается, а утверждает в мысли, что нет будущего у паниковских, кореек, бендеров — тем более. И все же почему-то зрителям жаль Паниковского (Гердта)».

Конечно, Бендер-Юрский был главным героем фильма, но Швейцер,

режиссер опытный и умный, не стал делать других героев всего лишь его «прилагательными». Каждый из них — личность со своей историей, своей особенной судьбой. В первую очередь это относится к Паниковскому. Создатели фильма, как и авторы книги, стремились показать, что его жизнь, как и жизнь «великого комбинатора», растрочена зря, на ложные цели. Неслучайно, начав линию Паниковского со сцены трагикомической, Швейцер заканчивает ее трагической сценой похорон «человека без паспорта», над гробом которого Бендер произносит краткую эпитафию: «Был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!»

Вот что пишет о роли Гердта в «Золотом тельце» искусствовед А. Свободин в журнале «Искусство кино» (№ 11 за 1968 год): «Когда он бежит с гусем и жалко машет крыльями, сам как драная подбитая птица, — он мученик. Когда он делит деньги — лучшая его сцена, — он Гобсек. Когда он ссорится с Шурой, он просто неопрятный старик, год не бывший в бане, старик из одесского анекдота. А таким его видеть неприятно. Читать — это другое дело». Так проходит по долготу, как дорога, фильму этот грустный спутник Бендера, для которого тот даже после смерти не нашел хороших слов. За что, быть может, и поплатился крушением своих грандиозных планов:

«Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавню.

Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:

— Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы».

Михаил Швейцер завершил свои размышления о фильме такими словами: «Ильф и Петров написали очень смешную и очень серьезную книгу... Картина получилась не очень смешная, скорее грустная. Что ж, повеселимся в другой раз».

И еще раз задумаемся над тем, что памятник Паниковскому, поставленный в Киеве, установлен не случайно — Гердт навсегда остался в памяти зрителей Паниковским, трагическим или комическим, но живым героем своего времени. Впрочем, сам Гердт сказал: «Роль Паниковского

навсегда испортила мне актерскую судьбу. Я не комик!»

«Золотой теленок» открыл самый продуктивный период в актерской карьере Гердта. Если за десятилетие до «Теленка» он снялся в 12 фильмах, то за следующие десять лет — в 28. Кстати, в 1971 году актер еще раз обратился к творчеству Ильфа и Петрова, сыграв в фильме Виктора Титова «Ехали в трамвае Ильф и Петров» небольшую роль капитана Мазуччо. Фильм, снятый по ранним фельетонам писателей-соавторов, получился не слишком удачным и успеха не имел.

Гораздо более значимым для Гердта было то, что в том же году он участвовал в озвучивании «Короля Лира» Г. Козинцева. Тогда же известный режиссер-сказочник Надежда Кошеверова пригласила его в фильм «Тень», который снимался на «Ленфильме» по сказке Евгения Шварца. Несмотря на занятость, Гердт не мог отказаться, так как высоко ценил творчество Шварца. К тому же в фильме собрался блестящий актерский ансамбль: Олег Даль (сыгравший роли ученого Христиана-Теодора и его тени), Людмила Гурченко (Юлия Джули), Анастасия Вертинская (принцесса Луиза), Марина Неелова (Аннунциата), Владимир Этуш (Пьетро), Андрей Миронов (Цезарь Борджиа). Зиновий Гердт сыграл одну из немногих в своей актерской карьере отрицательную роль — министра финансов. Фильм прошел на ура: в этой сатирической притче легко было углядеть черты Советского Союза начала 1970-х годов, уже проваливавшегося в «застой».

После «Тени» Зиновий Ефимович сыграл небольшие роли в фильмах В. Шукшина «Печки-лавочки» и Д. Храбровицкого «Укрощение огня», а потом, в 1974 году, исполнил роль дедушки Давида в фильме Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Как-то на съемках этого фильма в Паланге Зиновий Гердт пригласил молодую практикантку Аллу Сурикову в ресторан. Пришли, а их не пускают — Гердт в своем кожаном пиджаке не вписывался в понятия швейцара о приличной одежде. Зиновий Ефимович заметил: «В Лондоне пускали, в Париже пускали, даже в Буэнос-Айресе пускали. Почему у вас не пускают?» Против Буэнос-Айреса возразить было нечего. Зато потом два часа Гердт со своей спутницей сидели за пустым столиком и официант делал вид, что их не замечает. Наконец снизошел: «Что вы хотите?» Гердт ему ответил: «Спасибо вам большое, что вы не ударили меня, не послали на три буквы, не откусили ухо. За это я вам чрезвычайно благодарен!»

Глава тринадцатая КАМЕРТОН ВРЕМЕНИ

*Не знаю за что, но за что-то в награду
Внимательный блеск
мимолетного взгляда.
А голос от Бога. Сбывание снов...*

Сара Погреб. Жажда

Многие, оставившие о Гердте письменные свидетельства, не проходили мимо его голоса. Случайности в этом нет: когда рассуждают о голосе певцов — это закономерно, естественно, а вот голос актеров драматических, эстрадных — случай особый. Рассуждая о Гердте, надо помнить, что его голос — особенный, «гердтовский». Зрители слышали его не только в ролях самого артиста, но и от кукол в театре Образцова, и из уст французских, итальянских, английских кинозвезд: начиная с 1951 года Зиновий Ефимович участвовал в дубляже зарубежных фильмов. Надо сказать, что зрители оценили его и в этом качестве. В те времена, когда его голос звучал в основном за кадром, к нему пришло замечательное послание. На двух страницах зрительница четырежды вспоминала о тембре его голоса. Потом прибавляла, что, когда слышит этот тембр, тут же бежит из кухни к радио, и у нее в это время все пригорает. А в самом конце была маленькая приписочка: «Честно говоря, я хотела бы иметь ребенка от этого тембра».

В своей статье «Голос Гердта был камертоном» Сергей Сергеевич Юрский пишет: «Был голос. Было хорошо произнесенное слово. Причем он играл косноязычного человека, а слышалось, что сам актер прекрасно владеет русским языком и абсолютно свободен в нем. Вот этот артистизм, обаяние актерской двойственности было первым, что влюбило в Зиновия Гердта. Тогда он объездил все страны, но нам-то это было неизвестно, он был закрыт для нас. А дальше лично для меня возникло второе чудо, когда они с Евгением Весником продублировали фильм «Полицейские и воры». Один из любимых фильмов моей актерской юности. Исполнение, именно исполнение Гердтом голоса артиста Тото в роли старого профессионального вора. Я не знаю, успел ли Тото услышать и оценить, как говорил Гердт, но это действительно было конгениально его

исполнению. Речь, исполненная Гердтом, была на равных роли великого итальянского артиста в прекрасном неореалистическом фильме. Не могу не сказать, что и Весник был фантастичен во второй роли, дублируя Альдо Фабрици».

Первый раз Юрский встретился с Гердтом в Ленинграде, но ближе они познакомились в 1968 году, когда Гердт снимался в роли Паниковского в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок». Среди многочисленных ролей Зиновия Ефимовича эта была любима зрителями больше всего. Как уже говорилось, даже памятник Гердту, поставленный в Киеве, запечатлел его именно в роли Паниковского. В этой своей роли, как и во всех остальных, актер выделил именно то, что было ближе его характеру, его видению мира. Его Паниковский не только смешон, но и трогателен, и если авторы знаменитого романа Илья Ильф и Евгений Петров в первую очередь осуждают этого мелкого жулика и афериста, то у зрителей фильма он вызывает прежде всего сочувствие — то самое чувство, которое Гердт всегда старался пробуждать в людях.

Случилось так, что после того, как Зиновий Ефимович сыграл сцену смерти Паниковского, он тяжело заболел и оказался в ленинградской больнице. Юрский в ту пору нередко бывал у него: «Я пришел его навестить. Он читал стихи Пастернака. Читал сестрам, врачам и себе. Тогда он сказал мне: “Знаете, я всегда любил Пастернака, очень любил. Но здесь, во время болезни, во время стояния ‘на грани’, я почувствовал, что это не просто любовь, — я абсолютно нуждаюсь в нем. Это основа меня”. И он исполнил несколько стихотворений. Я больше никогда не слышал подобного уровня даже от него самого. Он не просто замечательно, он существенно прочитал эти стихи».

Из воспоминаний Галины Шерговой: «Зяма в соавторстве с драматургами Мишей Львовским и Исаем Кузнецовым задумали пьесу о человеке, пришедшем в наши дни из прошлого. В каком именно качестве они вовлекли в это предприятие меня, сейчас уже не помню. Помню только, что мы сочинили для грядущего спектакля песню с припевом: “Липа цветет, липа цветет...” Впрочем, двусмысленность данной строчки была обнаружена нами сразу по сочинении. Выходило, что то ли наша жизнь была “липовой”, то ли сам замысел — “липа”. Так или иначе — пьесу не написали. Но радостный процесс обминания слов, разделенный с Гердтом, я испытала. “Дух и нюх” текста он ощущал каким-то шестым чувством. В каждом жанре на свой манер».

А вот мысли о голосе Гердта его сына Всеволода: «Я принимаю все его искусство. Мое мнение: отец, несомненно, талантливая личность, выдающийся актер, виртуозно владеющий своим голосом, — просто фантастически. Уникальное, филигранное владение. Мало того голос, еще владение голосом, интонацией. Вкусный голос». Эти слова дополним высказыванием племянника Гердта Эдуарда Скворцова: «О голосе Гердта можно писать отдельно. Скажу лишь, что для меня его тембр, интонации так же необходимы, как голоса Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Рея Чарлза, Утесова и Кима. Доведись этому человеку жить в иные времена и в ином пространстве — он не потерялся бы в людском муравейнике. Но нам повезло: Гердт оказался нашим соотечественником и современником. Избери он профессию слесаря или токаря — это был бы Гоша из фильма “Москва слезам не верит”. Из него мог бы получиться прославленный учитель или замечательный музыкант. Но он стал актером — и это еще одна удача для всех нас».

*

Галина Шергова вспоминала: «Как известно, Гердт был хром. Хромой артист на сцене и в кинокадре — нелепость! Так считалось, так считал сам Зяма. Чем и определено его тридцатилетнее манипулирование руками и голосом за ширмой театра кукол. Но однажды его пригласили в кино.

У Образцова в то время шел спектакль “Чертова мельница”, где Гердт играл черта первого разряда, такого быстрого, легкого, саркастичного.

Однажды Зяме позвонил режиссер Васильчиков, который занимался дублированием зарубежных фильмов: “Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром некий голос историка комментирует, шутя, все, что происходит на экране. Попробуйте прочитать это в манере вашего черта”.

Речь шла о знаменитом ныне фильме “Фанфан-Тюльпан”. Зяма не только прочел, но и переделал текст ближе к своей “чертовой манере”. После этого Гердта без конца стали приглашать на чтение и написание закадровых текстов».

Друг и соратник Гердта Валентин Гафт отзывался о нем так: «Его голос (как нечто отдельное) — это уже символ. За его голосом очень много чего скрыто. Его голос нужно расшифровывать. Бывает, животное издает какой-то особый клич, извлекает из себя какой-то особый звук — и все “читают” его и собираются... Так и голос Гердта. На него собирались,

потому что он притягивал к себе. Бывает звук зрелища, звук события. Звук, за которым стоит удовольствие. Звук, в котором есть тайна... Вот таким голосом, какой был у Гердта, можно рассказать все. Абсолютно все. И это будет потрясающе, потому что в самом его голосе уже есть событие.

Актер — слово слишком вспомогательное в разговоре о Гердте. Его способ передачи — не актерский. Мне кажется, иногда он был таким... дилетантом, который выше профессионала, потому что он был человеком широкого образования. Мне кажется, то, что он сделал на сцене и в кино, нельзя судить по законам актерского искусства. Как и Володю Высоцкого, например... В нем было что-то пушкинское. Все они чем-то похожи. Маленькие, кудрявенькие, черненькие...

Я читал ему стихи, которые уже давно не пишу... Не могу сказать, что он был от них в восторге... Но мои эпиграммы ему нравились. На мой юбилей он написал мне замечательные стихи:

Он гением назвал меня, но это было днем,
А вечером того же дня назвал меня говном...
Но говорить о нем шутя я не имею прав,
Ведь он и вечером и днем был, в общем, где-то прав...»

Потом Гафт тоже сложил эпиграмму:

О, необыкновенный Гердт,
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт —
Колено он непреклонный.

Всего Гердт озвучил почти полсотни ролей в фильмах — не только иностранных, но и отечественных, там, где актеры (обычно выходцы из Прибалтики, вроде Юри Ярвета) недостаточно хорошо говорили по-русски. Его голосом, к примеру, говорил Донатас Банионис в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли».

Увы, не всегда бесценный голос Гердта доходил до слушателей. Тележурналист Алексей Веселовский вспоминает: «Зиновия Ефимовича пригласили на российское телевидение прочитать одно из рождественских стихотворений Бориса Пастернака. Тогда-то он и поделился своей мечтой — почитать стихи со сцены, с экрана». Но этого почему-то не захотел

тогдашний художественный руководитель телеканала РТР Игорь Угольников: он не выпустил Гердта в эфир. «В душе осталось лишь ужасное чувство чего-то навсегда упущенного», — заметил Алексей Веселовский.

Сам артист Гердт отнесся к этому «по-гердтовски»: «Я не обижаюсь, люди такие, какие они есть. Главное — не разозлиться». Сказав это, Зиновий Ефимович заметил, что нельзя злиться — разозлившись люди теряют себя. Нам, сегодняшним зрителям и слушателям, остается только сожалеть. Много ушло уже навсегда. Далее Веселовский замечает: «Есть передачи, которые всегда будет смотреть меньшинство, но это не умаляет их значимости...»

Безусловно, прав был Валерий Фокин, написавший о Зиновии Ефимовиче: «Гердт занимал в нашей среде место, которое принадлежало только ему. Он замечательно писал, но, увы, никто, в том числе и я, не смог убедить его напечатать что-нибудь. Голос Гердта, записи художественных произведений, которые остались после него, составляют неотъемлемую часть нашей культуры».

И неудивительно, что сын друга Гердта Константин Аркадьевич Райкин сказал об артисте: «Он был индивидуальным символом времени. Его магический голос, переводивший фильм “Возраст любви”, придавал картине едва ли не большее обаяние, чем сама Лолита Торрес, исполнительница главной роли. А когда он переводил текст песни героини, запел вместе с ней... Кино казалось лучше, чем было без перевода. Вообще, если в фильме звучал голос Гердта, фильм не мог быть пустым».

Прав был Бенджамин Дизраэли, сказавший однажды: «Голос — вернейшее зеркало характера». Если бы это было не так, едва ли роли, которые дублировал Гердт, остались бы такими значимыми и запоминающимися.

*

«За кадром» Гердт был занят не только дублированием: он читал текст от автора, участвовал в создании киносценариев и даже пел. Его негромкий, но проникновенный голос звучит в песнях из фильма «Соломенная шляпка», написанных его другом Булатом Окуджавой. В 1990-е годы артист с удовольствием исполнял «дворовые» песни в известной радиопередаче «В нашу гавань заходили корабли».

Особая страница его творческой биографии — озвучивание

мультфильмов, прямо восходившее к его работе в кукольном театре. В конце 1970-х годов его пригласили на киевскую киностудию «Киевнаучфильм», где снимали многосерийный мультфильм по повести Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». Книга эта, давно полюбившаяся юным читателям, дождалась своей экранизации лишь в 1978 году. Разумеется, Гердт взялся за озвучивание роли капитана Врунгеля. Вместе с ним в мультфильме приняли участие другие замечательные артисты — Игорь Ильинский, Семен Фарада, Григорий Шпигель, Вениамин Смехов и другие.

Режиссер фильма Давид Янович Черкасский написал о нем: «Эта книга попала мне на глаза уже после войны, в 60-м году. До этого я читал больше классику — “Дон Кихота”, “Трех мушкетеров”. Я был потрясен великолепными иллюстрациями художника Ротова. Поэтому когда мне совершенно случайно предложили сделать такой мультфильм, то я сразу схватился за эту идею». Соавтором сценария и автором песен был детский писатель Ефим Чеповецкий. Они с Гердтом познакомились во время работы над мультфильмом. Ефим Петрович в Москве был человеком, казалось бы, не очень заметным: выпускник Киевского педагогического института, он закончил Московский литературный институт в 1959 году. Среди тех, кто дал ему рекомендацию в этот вуз, были Самуил Маршак, Лев Кассиль, Константин Паустовский, Михаил Светлов. Уже в конце 1950-х годов творчество его стало заметно: написанные им рассказы, стихотворения, басни, пьесы, интермедии не остались незамеченными читающей публикой, как детской, так и взрослой.

Сам Чеповецкий написал о себе четверостишие:

Непререкаем мудрости полет,
И в устной, и в печатной речи —
Улыбка крылья истине дает
И теплотою слова душу лечит...

О мультфильме «Приключения капитана Врунгеля» говорили много — это был первый в нашей стране опыт мультсериала, насыщенного песнями и шутками. Не все из них выдержали испытание временем, однако «Врунгеля» смотрят до сих пор. Закономерно, что Ефим Петрович получил за него звание заслуженного деятеля искусств, а это было в те годы непросто. При этом не последнюю роль в успехе, как отмечают многие, сыграло то, что роль капитана озвучил Зиновий Гердт. В 1978 году Зиновий

Ефимович написал на фотографии, запечатлевшей их с Чеповецким: «Милому Ефиму Петровичу с чувством сбитости с толку: как это угораздило меня не знать его столько лет?! С глубокой симпатией, Ваш З. Гердт». Теперь они остались вместе не только в людской памяти, но и в самом фильме на долгие годы.

Голос Гердта был органической частью его искусства. И не столь уж важно, играл ли он Кукушкина или дублировал короля Лира — ведь его голос всегда оставался камертоном времени.

Глава четырнадцатая И СНОВА НА СЦЕНЕ

Артисты живут только в людской памяти.

Р. Харвуд. Костюмер

Год 1986-й. Второй год пребывания у власти Михаила Горбачева, год, породивший надежды на обновление Советского Союза, о распаде которого тогда еще никто и помыслить не мог. Случилось так, что именно в этом году произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, тогда же из ссылки в Москву вернулся академик Сахаров. Казалось бы, на фоне таких событий выпуск на экраны телеспектакля Михаила Козакова «Фауст» мог пройти незамеченным, но случилось иначе.

Когда Козаков решил поставить «Фауста» Гёте, роль Мефистофеля он предложил Гердту. Зиновий Ефимович вспоминал: «Очень важной была для меня роль Мефистофеля в спектакле, поставленном Михаилом Козаковым. Я стремился очеловечить Мефистофеля, ибо даже всемогущему Дьяволу нужен человек, чтобы полнее осознать свое всемогущие. Мое глубочайшее убеждение: плохих людей в чистом виде не бывает... Идеал человеческих слабостей мне не интересен». Дальше Гердт замечает, что он, по своей привычке, пытался отыскать в образе Мефистофеля человеческие качества, прежде всего сострадание. Напомним слова артиста: «Главными человеческими качествами я почитаю любовь, доброту и способность человека к состраданию. Наверное, сегодня это звучит даже оригинально».

Задолго до телеспектакля Гердт пытался показать «Фауста» в кукольном театре, но это не получилось. Зиновий Ефимович, подобно своему наставнику Сергею Образцову, весьма высоко оценивал возможности кукольного жанра: «Считалось, что кукла должна только смешить. Но я уверен в обратном: куклы могут всё воплотить ничуть не ниже, чем живые люди, даже выше — обобщеннее — отстраненнее... Скажем, Юра Никулин — очень хороший человек и замечательный артист, рожденный, казалось бы, комиком, а сколько драматических, грустных, печальных ролей сыграл. И как сыграл!» Однако чувства и мысли гениального произведения Гёте оказались куклам «не по зубам». И вот теперь появилась возможность снова воплотить «Фауста» на сцене.

Особенно заманчивым для Гердта было то, что Козаков взял за основу перевод Бориса Пастернака, который до того не то чтобы запрещали, но

старались не афишировать. Артист говорил: «Невероятное наслаждение! Как это интересно! Дважды брался за “Фауста”, но так и не одолел, пока его не перевел Пастернак. Боже мой! Неужели по-немецки это звучит так же высоко и прекрасно?! Не может быть! Конечно, нам еще дико повезло: гениальные писатели переводили великих иноязычных сочинителей».

Любой исполнитель роли Мефистофеля — а их в разных странах были сотни — был обречен пойти одним из трех путей. Первый, самый простой — изобразить героя опереточным «мелким бесом», кривляющимся, натужно острящим и терпящим в конце концов вполне заслуженный провал. Второй — подобно Шаляпину, возвыситься до трагедии, превратить тяжбу Мефистофеля с Богом за душу Фауста в сражение космического масштаба, в котором Фауст представляет все человечество, совершающее бесчисленные ошибки, но чудом спасаемое в конце. Гердт избрал третий вариант — он очеловечил Мефистофеля, фактически превратив его в «альтер эго» Фауста, в его «темную половину». Диалог двух героев превратился в драму становления человека, восхождения его к духовному совершенству в борьбе с низменными свойствами души, которые в данной трактовке воплощал герой артиста. Мы не знаем, подразумевал ли сам Гёте подобную трактовку, но весь опыт XX века с его безднами величия и падения человека давал основания для такого прочтения классического произведения.

Но и для тех, кто не вдавался в подобные глубины, телеспектакль Козакова стал незабываемым зрелищем. Достаточно было услышать, как читает Гёте в этом спектакле Зиновий Гердт, чтобы больше не расставаться с этим великим произведением, которое в переводе Пастернака стало неотъемлемой частью русской литературы, русской поэзии, начиная с самых первых строк:

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор,
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?..

Я в трепете, томленье миновало,
Я слезы лью, и тает лед во мне.
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность...

Случилось так, что среди авторов книги «Зяма — это же Гердт!» нет Михаила Козакова. Не очень понятно почему, ибо Козаков не раз отмечал, что Гердт был культовой фигурой не только советской, но и постсоветской действительности, да и дружба их связывала достаточно давняя. Впрочем, в своих заметках «Зяма, Зиновий Ефимович...» Михаил Михайлович отчасти объясняет охлаждение к нему Гердта и связывает это с Михаилом Швейцером.

В своих воспоминаниях 2004 года, когда Зиновия Ефимовича уже не было в живых, Козаков не решился написать, что Зиновий Ефимович — его друг: «Почему? Я жил в Израиле. У всех у нас по телевидению была возможность смотреть напрямую недолгое время еще советское, а затем российское телевидение. В одной из передач Зиновий Ефимович Гердт на вопрос: “Кто ваши друзья?” — стал перечислять своих замечательных, знаменитых и незнаменитых друзей. “А Козаков?” — спросили у него. “С Мишей у нас непростые отношения”, — сказал тогда Зиновий Ефимович. И объяснил, почему, вспомнив один наш конфликт в застолье, в его, Гердта, день рождения, где я под влиянием винных паров поссорился с выдающимся режиссером и замечательным человеком Михаилом Абрамовичем Швейцером. Гердт счел, что я обхамил его старого друга, и выгнал меня из дома. Я ушел. Наутро я выяснил с Михаилом Абрамовичем отношения по телефону, испросил прощения, и мы, как мне кажется, сохранили наши товарищеские отношения — с ним и с его женой Софьей Абрамовной. Не хочу сейчас вдаваться в подробности конфликта. Скажу только, что возникший в пьяном застолье спор был все о том же — о Пушкине, о понимании его стихов и о моем праве их исполнять. Звучит красиво. Но форма, скорее всего, была ужасной, в чем я и повинился Михаилу Абрамовичу.

И вот, спустя годы, Гердт вдруг вспомнил этот возмутительный эпизод, после которого мы на два года прервали всякие отношения. Затем помирились, заболели дружбой отношений.

Правда, характер у нас обоих, в особенности у меня, увы, не сахар. Сейчас, в старости, я стал, как мне кажется, сдержаннее, терпимее. Но тогда, в 80-х, почувствовав себя обиженным, я не подставлял другой щеки, я умел постоять не только за себя, но и за своих друзей и убеждения. Когда один негодяй, американский импресарио из бывших советских, возивший нашу группу в 89-м году по городам и весям США и безбожно “обувший” нас, неопытных, буквально унизил Гердта, точнее, Татьяну Александровну, за вмешательство в проведение гастролей и угрожал отправить Гердта и Татьяну в Союз, если Гердт не принесет публичных извинений и не

“исправится”, мы все в тот раз трусливо промолчали. И Гердт принес извинения. Коленопреклоненный артист, как школьник на пионерской линейке перед строем, вынужден был просить прощения у этого подонка, с которым, хотя и не в тот раз, счеты я, однако, свел. Не стану утверждать, что сделал я это только из-за Зиновия Ефимовича и Тани, но я не отказал себе в удовольствии, пусть в конце гастролей, назвать вещи своими именами.

И потому мне было особенно обидно, что Гердт позже на телевидении припомнил не лучшее в нашей с ним дружбе и не назвал меня в числе друзей».

Позже кто-то рассказал Козакову, что в одном из писем, присланных ему из Израиля, была такая фраза: «У нас все хорошо. Только произошли две страшные вещи: арабские террористы взорвали автобус и Гердт нахамил Козакову».

Михаил Михайлович продолжал: «Сегодня я хочу, но не могу назвать Зяму другом лишь потому, что не знаю, позволил бы он сам употребить столь высокое слово — дружба. Но это и не важно, в конце концов. Как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Важно другое. Вот уже столько лет, как его не стало, а я все думаю и думаю о нем, о его судьбе, о его выдающемся таланте. И вновь, и вновь мне кажется несправедливым, что он лишь озвучил козинцевского Лира. Зяма измучился, проделывая эту не нравившуюся ему работу, но не сыграл эту роль в ленте Козинцева. Сделав колоссально много, он, на мой взгляд, лишил нас радости прочитать его ненаписанные мемуары, услышать и увидеть снятыми на пленку сольные его вечера. Но история не терпит сослагательного наклонения. Довольно и того, что жил да был Зиновий Гердт, мужественный фронтовик, замечательный актер, чтец, музыкант, друг многих, не менее замечательных людей, любивших его, восхищавшихся им, по-настоящему друживших с ним до конца его жизни. А мне лишь остается поблагодарить судьбу, что она свела меня с этим человеком и в жизни, и в работе».

В том же очерке Козаков поставил на первое место среди театральных ролей Гердта роль костюмера в одноименном спектакле, поставленном Евгением Арье в Театре им. Ермоловой, в пору, когда им руководил Валерий Фокин. Все же думается, что вершин на театральной сцене у Гердта было несколько, и одна из них — несомненно, роль Мефистофеля, принесшая лавры и самому Козакову как постановщику «Фауста».

Именно об этом пишет в одном из стихотворений Давид Самойлов:

Твой «Фауст», Миша Козаков,
Прекрасный образец работы,
Ведь ты представил мне, каков
Был замысел Володи Гёте.
Володя этот (Вольфганг тож)
Был гением от мачт до кия,
И он не ставил ни во грош
Любые ухищренья стилия.
Он знал, что Зяма — это чёрт,
Что дьявол он по сути самой,
Что вовсе он не Гердт, а Герт!
Что черт в аду зовется Зямой.

И снова из очерка Козакова: «Со мной вообще случай особый потому, что Гердт однажды, пусть всего один-единственный раз, осчастливил меня, сыграв в моем трехсерийном телевизионном спектакле — в “Фаусте” Гёте — роль Мефистофеля. Я полагаю, нет, я уверен, что никто бы не смог сыграть эту роль, сочинение поэта Гёте — да еще в каком переводе Пастернака! — лучше Зиновия Ефимовича Гердта. Я часто сомневаюсь в праве режиссера печатно восхищаться актером, сыгравшим в его спектакле или фильме. Ведь, хваля актера, режиссер хвалит тем самым и самого себя. Но в данном случае мне не хочется останавливать себя. Зиновий Ефимович Гердт обладал для исполнения труднейшей роли всеми необходимыми качествами».

В 1986 году Гердту исполнилось 70 лет, и сниматься в достаточно динамичной роли Мефистофеля ему было не так уж просто. Козаков вспоминает: «А он, снимаясь по восемь часов каждый день в этой трудной роли, как мальчишка, лез на верхотуру металлических конструкций, если того требовал выбранный оператором ракурс, выгодный для мизансцены. “Зяма, может быть, все-таки не надо, еще небезопасно? Зиновий Ефимович! Куда ты лезешь? Тебе почти 70 лет! Я боюсь за тебя!” — “Нахал! Здесь дамы! Что за бестактность! Брось, Миш, если надо, значит, надо. Это Мефистофель. Такое не часто попадается сыграть”».

После того как спектакль был показан по телевидению, в прессе появилось немало отзывов. Вот один из них: «Постановка удалась и заставила подумать: как хорошо все-таки, что телевидение не зависит от кассовых соображений. Решили поставить Гердта — и поставили. Есть актеры, в том числе и хорошие, боящиеся, однако, стиха, как огня. Стихи

им мешают ритмом, рифмой, определенностью формы. Гердт хорошо знает, что и ритм, и рифма, и вообще форма — это и есть переживание, откристаллизовавшееся, ставшее музыкой. В роли Мефистофеля речь Гердта эмоциональна и чеканна, он желает, чтобы вы вместе с ним наслаждались силой и красотой слова, афористической точностью строки. И Гёте, и Пастернак ясно видны и четко слышны в этой постановке.

Хочется немедленно позвонить на телевидение, чтобы убедить эту редакцию или другую: если уж нашлись актеры, для которых такой сверхсложный репертуар — источник радости, а не только трудностей, то как же не дать им продолжить то, что так хорошо начато?

...Но о чем грустит, над чем усмехается этот задумчивый бес? В чем суть гердтовского исполнения? Словесный пересказ впечатлений всегда в таких случаях не полон, но все же рискну... Как нужен даже всемогущему дьяволу человек, пусть совсем не всемогущий! Как непереносимо без него всемогущие...

Как хочется овладеть хотя бы одной человеческой душой... иронизирует дьявол по этому поводу над самим собой. Это и есть дьявольская ирония».

А вот что писала позже жена Давида Самойлова Галина Медведева в статье «Признание в любви»: «И самой пластичной образа, и свежестью тонуша, которыми Мефистофель успешно соперничает с юной Гретхен, Гердт убеждает нас, что зло живое, оно ускользает от механического вычленения из природы человека, принимая на себя десятки обликов — от игривой усмешки до мудрости всеведения. Грозовые раскаты мефистофельских деяний отдаются в реакции зрителя сильными эмоциями: да ведь это все он, который так нас, людей, понимает. Мефистофель Гердта — всеобщая, и наша с вами, тень. Тень человечества, искушенного знанием».

И еще о Гердте в роли Мефистофеля: «В этом спектакле Зиновию Ефимовичу пришлось сниматься с животными — две обезьяны и петух. Но вскоре сникли обезьяны, а за ними и петух — не выдержав удушья, он упал в обморок. Но у петуха оказались дублеры, без обезьян обошлись, Гердта дублер, увы, не страховал. Козаков подошел к нему и сказал: “Смотри, Зяма, а ты живой!”».

Спектаклю, ставшему событием и в жизни Гердта, и в театральной жизни, Юлий Ким посвятил стихотворение «Зиновию Гердту, сыгравшему Мефистофеля»:

Вам дьявола играть не надо.

А почему? А потому.
Вы человек такого склада,
Что не сыграть вам сатану.
В какой бы форме небывалой
И как бы ни велась игра.
Вас выдаст голос ваш лукавый,
Всегда желающий добра.
У вас такое порученье
От наших сереньких небес:
Свечи поддерживать свеченье
Меж Днепрогэсов и АЭС,
Чтоб я на свете жил и думал:
А все ж во мгле текущих лет
Есть этот бархат. Этот юмор.
И грусть, и негасимый свет!

Надо сказать, что Гердт не любил театра в смысле актерства и неоднократно говорил, что он сам не артист: «Да какой я артист?» В актерской среде очень редко можно встретить человека, который вдруг восхитился бы успехами коллеги. Который вдруг скажет искренно: «Слушай, ты гениально играешь! Я — вообще никто, а ты — гений!» Это очень большая редкость, потому что у каждого свои мотивы, свои соображения, свои амбиции, свое восприятие себя в профессии и т. д. Гердт мог среди спектакля заплакать или прохохотать минут двадцать без остановки. А потом, зайдя за кулисы, воскликнуть: «Ничего подобного я в своей жизни еще не видел! Это потрясающе! Ты — гений!»

В своих заметках «Есть такое амплуа — благородный старик» Гердт пишет, что, по его мнению, каждый комик в глубине души трагик, и в значительной мере поэтому он стремится сыграть серьезную роль: «Думаю, что с Мефистофелем в какой-то мере мне это удалось... Мне кажется, что даже у самого замечательного комического артиста должна быть минута, когда уже погашен свет и всем сказано: “Спокойной ночи!” И он думает: “Боже мой! Что это они все считают меня шутком?”...»

Роль Мефистофеля в телеспектакле Михаила Козакова стала для Гердта редким подарком судьбы, без которого его актерский путь был бы совсем другим.

И еще об одном спектакле, без которого творческая биография Гердта немислима. Спектакль «Костюмер» вышел вскоре после «Фауста» Козакова, в сентябре 1987 года. Почему Гердт оказался в этом спектакле, да еще и в главной роли? Вдумаемся — к тому времени актер уже 47 лет не играл на драматической сцене! «Я жутко робел. В кино ведь как? Получишь две страницы роли — и гуляй, учи, когда хочешь, обедай, когда хочешь, снимайся, когда хочешь. Особенно теперь я это ощущаю, при моем статусе “старика”, “мэтра”, когда теперь я могу намного свободнее попросить еще один дубль. В театре ты должен распределить себя на целую судьбу — за несколько часов сразу. Душу взбурлить, а не технику настроить. После целого дня ерничанья выходить на полный разгар души. В “Костюмере” это было огромным наслаждением для меня».

Постановщиком спектакля в Театре им. Ермоловой был Евгений Арье, но инициатором — главный режиссер театра Валерий Владимирович Фокин. Вероятно, он и рекомендовал пригласить на главную роль костюмера Нормана Зиновия Гердта. Конечно, были те, кто отговаривал его, указывая, что Гердт давно утратил навыки игры на сцене, что он вряд ли будет убедителен в роли трагического героя. Однако Фокин этим уверениям не внял, хорошо зная на правах друга Гердта, как тот тоскует по драматическим ролям. Уже был сыгран Мефистофель, оставалась нереализованной мечта об участии в спектаклях по Шекспиру. Зиновий Ефимович всю жизнь обожал английского классика — еще и потому, что семь шекспировских пьес перевел обожаемый им Пастернак. «Мне кажется, он всю жизнь пытался разгадать тайну Шекспира, тайну границ человеческих возможностей», — сказал мне однажды известный шекспировед Михаил Морозов. Приближением к Шекспиру для Гердта стало озвучивание роли короля Лира, сыгранной в фильме Козинцева эстонским актером Юри Ярветом, плохо говорившим по-русски.

Новая встреча актера с «Королем Лиром», с Шекспиром состоялась, как ни странно, в пьесе «Костюмер», написанной британским драматургом Рональдом Харвудом (по-настоящему он Рональд Горвиц, сын еврейских иммигрантов из Польши) достаточно недавно, в 1970 году. Надо сказать, что спектакль на сцене Театра им. Ермоловой был поставлен спустя четыре года после выхода в 1983 году английского фильма «Костюмер», за который Харвуд как автор сценария получил «Оскара». Место действия пьесы — Лондон военных лет, где налет немецкой авиации может сорвать спектакль

«Король Лир» в небольшом частном театре. Покинут ли зрители зал? Уходят не все. Норман обращается к зрителям: «Начался налет. Но мы поднимем занавес. Пусть те, кто хочет бежать... кто хочет покинуть здание, проделают это как можно тише... Спасибо!»

Главный герой пьесы Норман, как и сам Гердт — сильная, волевая натура. Такие люди, как правило, самодостаточны. Они излучают доброту, честность, порядочность. Без них мир был бы другим. Второй главный герой спектакля «Костюмер» — сэр Джон, выдающийся актер и руководитель театра — побежден угасанием. «Люди такой неиссякаемой ментальности воспринимают старость как предательство: слышать и видеть бушующий и сверкающий мир, но не быть в состоянии соответствовать его напору, чувствовать себя сосудом, из которого неумолимо вытекает драгоценный, обожаемый напиток жизни. Что может быть трагичнее?»

Сэра Джона в спектакле играет Всеволод Семенович Якут (Абрамович), а его герой, в свою очередь, играет короля Лира в двести двадцать седьмой — и последний — раз. Он стар, утомлен, измучен грызней актеров и непониманием публики. Он готов утратить веру в театр, которому служил всю жизнь. Старый Норман всячески утешает его, и в итоге события пьесы странным образом начинают повторять сюжет Шекспира — свергнутый, сломленный патриарх благодаря поддержке одного преданного ему человека побеждает невзгоды и возвращает себе власть. В спектакле это власть над публикой — преодолевшего недуг сэра Джона зрители провожают громом аплодисментов. И в этом заслуга скромного костюмера, сумевшего сплотить враждующих, погруженных в житейскую суету актеров вокруг их главного дела — Искусства. «У кого ума крупица, тот снесет и дождь и град...» — в этом финальном монологе Нормана заключена суть спектакля.

Почему так удалась роль Нормана Гердту? Его герой — по сути своей обладатель народного характера. По мнению Галины Медведевой, «его заземленный пафос, его манера светить и светиться, оставаться в тени весьма уместны для этой роли... Говорящие реплики Нормана как будто созданы для Гердта, для его любви и умения воплощать в слове пространство между правдой и истиной». «Со мной никогда ничего не случится, — утверждает костюмер. — Я живу без происшествий... У меня есть все, что надо, и я никому ни с чем не навязываюсь. Конечно, не все у меня получается. Но я никогда, никогда не впадаю в отчаяние». Зная характер Зиновия Ефимовича, его отношение к жизни, мы видим, что последняя фраза монолога отражает всю суть не только костюмера

Нормана, но и самого актера.

Размышляя о ролях, сыгранных Гердтом в театре и кино, невозможно отделить их от всей его жизни, его биографии. Быть может, этих ролей было меньше, чем требовал его артистический талант — он так и не воплотил на сцене или на экране волнующие судьбы героев Шекспира, Гоголя, Чехова. Часто его появление в фильме диктовалось лишь потребностью «вытянуть» откровенно слабую картину с помощью любимого зрителями артиста. Такой же была судьба другой «любимицы публики» — Фаины Раневской. Как и она, Зиновий Ефимович своим актерским и человеческим масштабам намного превосходил доставшиеся ему роли, что не могли не замечать не только его друзья, но и зрители. Именно поэтому многие фильмы, где сыграл Гердт, забыты, а имя артиста, несмотря на это, живет и — можно быть уверенным — будет жить еще долго.

Глава пятнадцатая ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС

*У каждого глупца хватает причин для уныния,
И только мудрец разрывает смехом завесу
бытия.*

И. Бабель

Мы уже говорили, что Зиновий Гердт был человеком русского языка, русской культуры. Однако в этой книге не обойтись без его отношения к «еврейскому вопросу» — особенно в конце жизни, когда этот «вопрос» усилиями некоторых национально озабоченных граждан обострился не на шутку. До сих пор по Интернету гуляют списки «замаскированных евреев» или «сионистов», где Гердт занимает почетное место. Составители этих списков с торжеством предьявляют публике подлинную фамилию артиста «Храпинович», как будто она более еврейская, чем «Гердт».

Конечно же никаким сионистом Зиновий Ефимович не был. Да и к «еврейскому вопросу» долгое время относился достаточно спокойно, о чем свидетельствует его племянник Эдуард Скворцов: «Эту нашу неизбежную проблему для себя он решил раз и навсегда... Помню его строгое выражение лица, когда они с женой тщательно одевались к официальному приему в израильском посольстве. Но никогда не приходилось слышать от него конструкции вроде: “Мы евреи”. Он жил не среди представителей той или иной национальности, а среди людей, тем самым как бы приглашая их относиться друг к другу так же».

В жизнь Гердта еврейская тема проникала в первую очередь через литературу. Он любил рассказы Шолом-Алейхема, знал стихи Х. Бялика и С. Фруга. Особенно близко ему было творчество Исаака Бабеля, вызывавшее в душе артиста особый отклик: «Образ жизни этого писателя не может не быть близок любому. Его поиски выразительности, строй образов, его метафоры не могут не увлекать».

Зиновию Ефимовичу приходилось играть на сцене театра «Гешер» героев бабелевских произведений. Вот как вспоминает об этом сам Гердт: «Почему я так захотел сыграть героев Бабеля? Потому что они, мне кажется, буквально заставляют читателя влюбиться в себя. Помните слова Арье-Лейба о Бене Крике: “Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле

были бы приделаны кольца, вы схватились бы за эти кольца и притянули бы небо к земле”. Вот теперь вы понимаете, почему я так люблю героев Бабеля? Как часто я повторяю фразу из его “Кладбища в Козине”: “О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?”».

В 1989 году Гердту довелось сыграть старого Арье-Лейба сразу в двух экранизациях «Одесских рассказов» Бабеля — фильмах В. Аленикова «Биндюжник и Король» и Г. Юнгвальд-Хилькевича «Искусство жить в Одессе». Отношение критиков к этим фильмам было неоднозначным, но все сходилось на том, что роль Гердта, хоть и небольшая, стала там одной из самых ярких. Любовь к Бабелю претворилась в душе артиста в любовь к Одессе, где он был несколько раз и куда всегда стремился. Вот размышления Гердта об этом городе: «Когда я брожу по Одессе, в особенности по старым улицам Молдаванки, Слободки, мне кажется, что вот-вот я встречу Бабеля. Он так любил блуждать по этому городу и жадно наблюдать его неповторимую жизнь. Только он чувствовал его переливы голубовато-серого неба. Слышал романтику одесских напевов и мелодий, то есть я Одессу воспринимаю и глазами, и ушами Бабеля...» Прав был Григорий Горин, сказавший, что, не будучи одесситом, Гердт стал гордостью одесситов.

Некоторые рассказы Бабеля Зиновий Ефимович читал со сцены. Но мне хочется вспомнить малоизвестный рассказ «Измена», который он однажды прочел специально для меня, создав потрясающий театр одного актера:

«Отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности...»

Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какого потеряли сознание...

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он

грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем доме, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом доме...»

Услышав в потрясающем исполнении Гердта этот рассказ, я понял, что был уже не первым зрителем этой сцены: до этого Зиновий Ефимович читал его вместе с Евгением Арье, главным режиссером театра «Гешер», когда они ставили спектакль по Бабелю.

*

«Еврейский вопрос» в СССР никогда полностью не снимался с повестки дня. При всех заклинаниях о дружбе народа евреи не раз становились удобным объектом для того, чтобы массы могли выместить на них накопившееся недовольство. Так было и в конце советской эпохи, и гораздо раньше — в недобрые годы борьбы с «безродными космополитами». В ту пору с Гердтом произошел один случай. В 1950 году, во времена борьбы с космополитизмом, Зиновий Ефимович со своим братом Борисом возвращался с кладбища (была годовщина смерти мамы). На Садовом кольце они зашли в пивнушку («шалман», как определил ее Гердт) — согреться и помянуть.

Перед ними в очереди стоял огромный детина. И когда очередь дошла до него, он вдруг развернулся в их сторону и громко сказал продавщице: «Нет уж! Сначала — им. Они же у нас везде первые!..»

И Гердт, маленький человек, ударил детину в лицо. Это была не пощечина, а именно удар. Дитина упал... Шалман загудел, упавший начал подниматься... Продавщица охнула: «За что?! Он ведь тебя даже жидом не назвал!..»

И стало ясно, что сейчас будет самосуд... Когда все шло к самосуду, от стойки оторвался человек, которому Гердт едва доходил до подмышек. «Он подошел ко мне, загреб своими ручищами за лацканы моего пальтишка, — рассказывал Гердт, — и я понял, что это конец. Мужик приподнял меня, наклонился к самому моему лицу и внятно, на всю пивную, сказал: “И делай так каждый раз, сынок, когда кто-нибудь скажет тебе что про твою нацию”».

И «бережно» (слово самого Гердта) поцеловав его, поставил на место и, повернувшись, оглядел шалман. Шалман затих, и все вернулись к своим бутербродам.

В этой истории — не только тот замечательный незнакомец. В ней — весь Гердт.

Сам Зиновий Ефимович вспоминал: «Гнусные годы — 1951 или 1952 — погоня за космополитами, расшифровки псевдонимов, убийство Михоэлса. Жуть, в общем». При этом он никогда не был антисоветчиком. К Советскому Союзу всегда относился как к своей стране, не испытывал антипатии ни к армии, ни к КГБ: «У меня был знакомый малый... в общем, из тех, которые всегда ездили с нашим театром за границу, их представляли так: “Это сотрудник Министерства культуры”. А мы их между собой — не знаю, почему — называли “сорок первыми”. И с одним таким малым по имени Игорь у меня сложились очень теплые отношения. Как-то в Испании я жутко напился в каком-то обществе дружбы. Утром в номер приходит Игорь, приносит пирожок, бутылку простокваши, алкозельцер и говорит: “Госбезопасность о тебе заботится! Это я тебя вчера привел, раздел и спать уложил”».

Но, конечно, артист не мог не размышлять о положении в стране, чему способствовали и частые зарубежные поездки. Он писал: «Я часто думаю о социализме. Понимали ли те, кто стоял у руля, что и зачем мы строили? Социализм — это когда общество заботится о самых незащищенных своих членах. А так как я рано вместе с театром Образцова стал выезжать в нормальные — капиталистические — страны, то хорошо представлял, что же такое настоящий социализм. Я видел это в Швеции, где дом престарелых разрешено строить только в центре города, чтобы эти люди были постоянно в гуще жизни, среди молодежи. Чтобы дочь после работы могла навестить своих стариков и бежать дальше... Нет способа лучше коротать старость, чем путешествуя. А у нас бедная старушка всю жизнь копит на нищенские похороны. Уродливая партия, уродливое государство! Надо же, столько лет замалчивать слово “благотворительность”, как нечто стыдливое».

Кстати о благотворительности. Однажды в Румынии, на гастролях театра Образцова, после успешного спектакля зрители устроили овацию, а потом состоялся прием. Один из актеров сказал Гердту, что он подарил румынской актрисе тысячу лей на поездку в Москву: «Уж очень велико было желание этой русской женщины, живущей в Румынии, побывать в Москве». Гердт сказал: «Вы сделали хорошее дело, единственно, что скверно — что вы мне об этом рассказали». Гердт считал, что добрые дела надо творить незаметно: «Афишируемая благотворительность во мне вызывает чувство, мягко говоря, противоречивое». И тут же вспомнил академика Сахарова, его выступление на Съезде народных депутатов. Кто-

то из «доброжелателей» с подковыркой спросил его, что он сделал с врученной ему Нобелевской премией. «Мы отдали 300 тысяч долларов на строительство онкологического центра», — ответил Сахаров. И Гердт добавил: «Но все наше общество об этом ничего не знало!»

*

Конечно, Гердт, как и многие наши интеллигенты, как все образованное советское общество, внимательно смотрел в 1989 году трансляции заседаний съезда. Творилось небывалое — давным-давно заброшенная на страну «смирительная рубашка» единомыслия затрещала по швам, с телеэкрана зазвучали самые разные мнения, в том числе и враждебные официальному. В этой обстановке Гердт, подобно большинству его друзей, стал куда внимательней, чем прежде, относиться к политике. Его интересовали многие вопросы, и среди них — поднимаемый голову в СССР антисемитизм. Это обострило интерес артиста к «еврейскому вопросу». В том же 1989 году он принял предложение режиссера Владимира Двинского участвовать в съемках документального фильма «Мир Вам, Шолом» о судьбе Шолом-Алейхема. Разумеется, творчество еврейского классика было хорошо знакомо Зиновию Ефимовичу еще со времен детства в Себеже. Двинский пригласил актера на съемки фильма в США и в Польшу. Почему-то он считал, что без Гердта фильм не состоится или будет не таким, каким Владимир Эммануилович его видел.

Двинский рассказывал: «Находясь в США, мы встречались со многими предполагаемыми участниками фильма, в особенности запомнились встречи с внуками Шолом-Алейхема. Оказывается, Гердт неплохо знал Библию. Может быть, со времени учебы в хедере, а может быть, от аборигенов старого доброго Себежа. Во всяком случае, он нередко приводил библейские цитаты на идише и тут же их переводил. Не все я за ним записывал: Зиновий Ефимович не одобрял этого, но все же что-то осталось. В какой-то день по телефону он процитировал мне выдержки из Екклесиаста. В частности: “Кто находится среди живых, тому еще есть надежда, ибо и собаке живой лучше, чем мертвому льву”. Произнес это он уже в пору, когда был тяжело болен».

Беседуя с внуком Шолом-Алейхема Шервином Кауфманом, Гердт едва ли не со второго слова заговорил на идише. И так внятно, что создавалось впечатление, что он только вчера приехал из родительского дома. На это обратил внимание и Шервин:

— Потому-то и называется этот язык «мамэ лошн» — материнский язык.

Зиновий Ефимович ответил:

— А знаете, я ведь на идише писал стихи, и они публиковались в еврейской газете Себежа. Не знаю, был ли у нас в Себеже Шолом-Алейхем, но думаю, что нет, иначе себежане обязательно оказались бы на страницах его книг.

В беседе с Владимиром Двинским я спросил, почему его выбор остановился на Гердте. «Если говорить честно, — ответил он, — я не хотел сам светиться в кадре как режиссер и подумал, что было бы хорошо, если бы интервью у потомков писателя брал какой-нибудь известный человек, значимый, и актер хороший, и сам по себе личность. Но если ты хоть немного помнишь картину: ничего из этого не вышло, потому что Гердт интервью не брал. Да и мне кажется, ему не приходилось это делать. Что такое брать интервью в документальном фильме? Это слушать, что тебе человек говорит, понять этого человека. Поэтому эта затея до конца не состоялась. Я не жалею по той причине, что Гердт, как известно, сам по себе актер непростой, а фильм-то был по структуре сложный: одновременно документальный, не хотелось просто сделать биографию Шолом-Алейхема: “Родился, жил, писал, умер”».

По словам Владимира Эммануиловича, прежде всего ему хотелось показать, что произошло с евреями России, да и всей Европы после смерти Шолом-Алейхема. Идея фильма заключалась в том, что его авторы словно беседуют с писателем, показывают, что произошло после его смерти, поэтому здесь нужны были, помимо документальных, и другие кадры, нужен был текст. Фильм построен так, как будто это постановка некоей пьесы о Шолом-Алейхеме, где связки между фрагментами фильма сняты в театре «Шалом». В эпизоде, когда на сцене два актера, на экране идут кадры, как Риббентроп встречается с Молотовым, со Сталиным, как они разговаривают, пожимают руки, все такие радостные. И звучат слова Тевье-молочника: «Уж какие великие люди, какие великие люди, что мы им сделали? Как они обрушиваются на нас! Хотят выгнать нас с нашей земли!» И этот монолог ведется на двух языках: актер театра «Шалом» говорит эти слова Тевье на идише, как они написаны, а Гердт по-русски. Вместе, одновременно.

А потом съемочная группа вместе с Гердтом поехала в Освенцим. Услышав про это, я удивился — не знал, что Зиновий Ефимович был в

Освенциме, он никому про это не рассказывал. Двинский сказал, что во время съемок все молчали — они снимали: как Гердт идет по Освенциму, как он входит в ворота со знаменитой надписью «Работа делает свободным», как идет тем путем, которым шли евреи, которых сразу «отбраковывали» и отправляли в газовые камеры. Вот он идет этим путем от входа туда, вглубь, идет к крематорию. И вот, когда он оттуда вышел, сквозь колючую проволоку чуть подул ветерок, и седая шевелюра Гердта стала развиваться на этом ветерке. Он в этот момент не играл, он и вправду был совершенно потерянным, подавленным тем масштабом страдания, что развернулся перед ним в этом страшном месте.

Владимир Эммануилович рассказывал: «Я вот сейчас вспоминаю этот портрет — аж мороз по коже! Вот такое было путешествие. Через некоторое время после съемок Гердт заболел. Я как-то тогда подумал, когда узнал: “Господи, а не тогда ли он заболел?” Уж такой у него трагический вид в этом кадре, будто он увидел самого дьявола. Это как-то само возникло у него и в глазах, и в чертах лица. Совершенно поразительно. Мы в кадре показали вид Освенцима, снаружи и внутри, и вот этот вид Гердта».

После Польши съемочная группа поехала в США. Там предполагалась по сценарию встреча с известным еврейским деятелем Чарльзом Бронфманом, но для Гердта главным было не это. Он впервые оказался в Америке, и его поразил сам прилет в Нью-Йорк. Они прилетели в аэропорт имени Кеннеди, где зона прохода паспортного контроля, потолки сняты, как при разрухе, провода болтаются. Толпы людей стоят, разгороженные разными канатами. Часа два съемочная группа проходила паспортный контроль. Все озверели. Когда выходишь с паспортного контроля, попадаешь на такую площадку: впереди люди ждут за заборчиком, те, кто приехал встречать этот самолет, родственники, друзья, в общем, полно встречающих. Гердт небольшого роста, так издали его не заметишь. И вдруг кто-то в этой толпе увидел Гердта. Владимир Двинский вспоминает: «Я не видел, я представляю, как это происходило, так как постепенно раздалось: “Гердт! Гердт! Гердт!” и вся толпа стала смотреть на нас. Они увидели Гердта. Раздались крики: “Зиновий Ефимович! Гердт! Гердт приехал”. Когда мы стали с нашей кладью спускаться, остальная часть группы осталась получать багаж. Багажа было очень много: две камеры, много аппаратуры... Но я был совершенно потрясен, как люди моментально узнали его?.. Они забыли про всех своих родственников, которых там встречали».

Когда Гердт спустился, вышел в это помещение, как бы уже на волю, группу окружила настоящая демонстрация. Все хотели его потрогать,

пощупать. Многие спрашивали: «Вы насовсем приехали или на гастроль?» — «Нет, мы на съемки». К нему просто прилипли три молодых парня, которые выросли в Штатах, по-русски уже говорили с трудом, они по идее не должны знать Гердта — но знают! Они расспрашивали режиссера: «Где вы будете жить, в каком отеле?» И тут началась трагикомическая часть истории. Они знали название и адрес отеля, который им заказал их продюсер. Тот должен был теоретически приехать их встретить: все они в первый раз в Америке. Но никто съемочную группу не встречал. При этом продюсер прислал в Москву телеграмму, что участники съемок до шести вечера обязательно должны приехать в гостиницу, иначе бронь на номера аннулируется. Все были уверены, что в шесть будут в отеле, и даже не предполагали, что два или три часа будут проходить паспортный контроль, таможеню. До назначенного времени оставалось всего ничего, а они понятия не имели, как добраться до отеля.

Группа приехала очень большая, и делать ей, по словам режиссера, было нечего. Необходимы были в первую очередь Зиновий Гердт, оператор Гарик Тутунов и режиссер Владимир Двинский. Нужна была еще переводчица, чтобы работать с продюсером (он был немцем). Владимир Эммануилович вспоминает: «Полетел (не хочу называть ничьих фамилий) художественный руководитель объединения, директор объединения, директор картины — три человека, явно там совершенно не нужных. Но все очень хотели в США. Продюсер, у которого была запланирована определенная сумма и, по-моему, 12 дней на съемки, из-за того, что едут три, по его подсчетам, даже четыре лишних человека, сократил количество съемочных дней. А мы собирались снимать много дней, войти в атмосферу этого Брайтона, перезнакомиться с людьми, с ними встретиться, походить по Брайтону с Зиновием Ефимовичем, собрать каких-то людей вокруг него, типажей интересных».

И вот Гердт сказал директору картины, худруку объединения и директору объединения, что они с переводчицей, потому что у него в кармане были деньги (может быть, у них тоже были, но они не признались), помчатся в отель по указанному адресу, ибо, как предупредил продюсер, если они не приедут до шести, «номера рухнут». Отель располагался где-то в центре Манхэттена. Там, как оказалось, никто группу не ждал, никакие номера не были забронированы. Начался перезвон: они звонят в Берлин, им говорят, что все забронировано, тогда они звонят хозяину отеля, в общем, в конце концов получают свои номера.

В это время подъезжает большой автомобиль — аппаратуры много, да еще у каждого по чемодану. Оттуда выходит съемочная группа, и (о ужас!)

Владимир Эммануилович обнаруживает, что среди приехавших нет Зиновия Ефимовича. Он спрашивает: «А где Гердт?» Вдруг они все друг на друга смотрят. «Где Гердт? Как же вам не стыдно, как вы могли уехать без него?» Он сказал, что единственный нужный для съемок человек, кроме него и оператора — это Гердт. «Я думаю, что делать, — вспоминает режиссер. — Мчаться в аэропорт и искать Гердта? И я вдруг вспоминаю, что вокруг него все время вились три или четыре парня, которые не могли от него ни на шаг отойти, и они меня все время спрашивали, где мы будем жить. А я им сказал, что у нас есть только адрес, и показал им адрес отеля».

В это время (они разговаривали на улице, потому что отель был крошечный, и их шумная компания, где все к тому же спорили и махали руками, не могла там поместиться) подъехал автомобиль с этими ребятами, и из него вышел Зиновий Ефимович. Когда машина подъезжала к отелю, еще не было видно, что там был Гердт, но, как рассказывал Двинский, оттуда раздался такой «солдатский» мат, который не слышали на Брайтоне от всех известных мафиози, там живших. Потом выскочил разъяренный Гердт...

Слово Владимиру Эммануиловичу: «А кто режиссер? Режиссер я, значит, я во всем виноват. И он на меня: “Володя!..” Я не могу повторить ни одного слова, кроме слова “Володя”: все остальное непереводаемо и ничем это заменить невозможно. Но мат был не такой, как знаете, просто на улице. Это был настоящий, красивый, фантастически ругательный мат. Он выражал все те чувства, которые у него возникли, когда он обнаружил, что его оставили одного в аэропорту. Целые сутки я пытался перед ним извиниться. Я ему все рассказал, в конце концов, он смиростивился и простил меня».

«Торжества» продолжились после Манхэттена на Брайтоне: стоило группе выйти из такси, как тут же на них кидались со всех сторон люди. Точнее, не на них, а на Зиновия Ефимовича. В этом была большая эгоистическая польза: все хозяева ресторанов звали съемочную группу обедать. В те несколько дней, что они снимали на Брайтоне, им не надо было нигде платить за обеды. Их кормили. По словам режиссера, слава богу, поехала не вся съемочная группа: на съемки-то никому неохота ездить. Поэтому их было немного: оператор Гарик Тутунов, звукорежиссер Леонард Бухов (он потрясающе образованный человек, переводит пьесы, блестящий знаток польского языка), Зиновий Ефимович и сам режиссер Владимир Двинский.

К ним подходили обычные люди, и создавалась какая-то атмосфера любви, передающаяся всем окружающим. Причиной был, конечно, Гердт. У

него брали автограф, и у других членов съемочной группы брали автографы. И вот компания обедает, а это было под самый праздник Дня Победы. Кто-то вспомнил, что 9 мая — день рождения Булата Окуджавы. «И моей жены!» — добавил Гердт. Но, несмотря на это, 9 мая они тоже снимали. После пришли в ресторан в полуподвале. Вот сидят четверо: Леонард Бухов, Гарик Тутунов, Зиновий Гердт и Владимир Двинский. Свободен только один хозяйский столик, все заняты. Всюду сидят пожилые люди, ровесники Зиновия Ефимовича, все участники войны, у всех на пиджаках боевые ордена. С женами, с дочерьми, с сыновьями. И все отмечают 9 мая. А Бухов воевал всю войну, Гердт воевал, но они без орденов и медалей, потому что они на съемках.

Вот все сидят, что-то выпивают, что-то едят. И вдруг компания завелась: «Как-то тихо очень все! Праздник 9 мая надо более бурно отмечать!» Двинский говорит: «Давайте споем песни военных лет!» Леонард завелся: «Зиновий Ефимович, давайте!» — «А кто будет играть?» — спросил Гердт. «Я сяду», — ответил Леонард. Там было пианино. Леонард стал играть знаменитые песни. Зиновий Ефимович вышел к микрофону и запел. Зал замолк. Такая тишина, все сидели и слушали. Двинский вспоминает: «Для них 9 мая поет Гердт! В Нью-Йорке! На Брайтоне. Без копейки денег. Просто так, бесплатно. Но тут моя коммерческая душа дрогнула: “Что это они должны Зиновия Ефимовича бесплатно слушать?” Я взял с барной стойки здоровый бокал, вложил в него один доллар и пошел по залу: “Господа, день Победы, артист устал после дня тяжелой работы, давайте, бабки кладите!” Можете себе представить, насобирал денег... Вот так мы отпраздновали 9 мая. На эти деньги мы потом поехали на такси в гостиницу».

Вернувшись из поездки в США, Гердт отправился по приглашению Конгресса еврейских общин в турне по разным городам России. Татьяна Александровна вспоминает: «Зяму постоянно рвали на части какие-то люди, бесчисленные звонки, телеграммы. Он всегда куда-то торопился, но никогда не опаздывал. Не припомню, чтобы он когда-либо пожаловался на усталость, сказал, как ему все обрыдло, как хочется забыть это “должен, должен” и просто заснуть, повалиться».

Между тем подошло лето 1991 года, случился и провалился августовский путч. Среди прочих потрясений вскоре после него состоялись похороны юношей, погибших при штурме Белого дома. Заиграли еврейскую мелодию, и кто-то в толпе сказал: «Ну, это уж слишком». Зиновий Ефимович, тоже бывший на похоронах, вспоминает: «И ведь неплохой, видимо, человек. Но где-то внутри в нем сидит эдакое

покровительственное отношение к малым народам».

В дни путча Гердт узрел иных, новых москвичей. Этим во многом объясняется его поведение и тогда, и после. Пройдет время, и он скажет: «В моей жизни было три победы: в мае 1945 года, август 1991 года и победа на выборах Ельцина... Вся моя жизнь прошла в атмосфере тотальной лжи. И оказалось, что я очень пристально, даже страстно, отношусь к правде. Я принимал участие в предвыборной кампании Ельцина, в какой-то момент я был в него просто влюблен... Но это необыкновенный человек! А влюбился я в него опосредованно: сначала в жену. Они были на спектакле, а потом мы полчаса разговаривали в дирекции. Правда, жена Ельцина молчала, но как она на него смотрела! Я восхитился».

После победы Ельцина в августе 1991 года в Киноцентре на Красной Пресне состоялся митинг творческих деятелей. Его вели Олег Ефремов и Нонна Мордюкова. Пригласили и Гердта, которого Нонна Викторовна представила следующим образом: «Сейчас перед вами выступит ветеран войны и труда».

«Она сказала, — вспоминал Гердт, — а мне стало как-то неудобно: уж больно низко в общественном сознании людей стоит сегодня словосочетание “ветеран войны и труда”. Какой ужасной должна быть страна, чтобы сделать этих людей самой консервативной и реакционной частью общества! А ведь эти самые ветераны, по сути своей замечательные люди, свободно чувствуют себя только на войне, где делали тяжелейшее дело. Но они понимали, зачем это делали, они защищали себя и своих близких. Даже маленькие командиры — взвода, роты — обладали огромной властью. Что может быть больше, чем власть распоряжаться чужими судьбами и жизнями? Это многих возвеличивало в своих глазах».

В одной из бесед Зиновий Ефимович утверждал, что его угнетала доставшаяся ему в годы войны власть командира: «Я понимал всю безнравственность и актуальность такого положения. Я был очень молод, и в моем подчинении были солдаты вдвое старше меня. Но я никогда не пользовался данными мне правами, старался быть со всеми на равных». По его словам, он почувствовал большое облегчение после ранения: отныне он не должен распоряжаться судьбами людей. И до конца жизни Гердт не злоупотреблял властью — нигде и ни в чем.

В драматическую ночь с 3 на 4 октября 1993 года Гердт оказался на Красной площади. Странники Верховного Совета штурмовали мэрию и Останкино, и Егор Гайдар призвал всех, кто может, выйти на улицы для защиты демократии. Зиновий Ефимович и Татьяна Александровна

собрались идти, Гердт попросил 17-летнего внука Орика остаться, но тот категорически отказался. Они проехали по абсолютно пустой Москве, поставили на Васильевском спуске машину и пошли на Красную площадь. Уже через 15 минут площадь была заполнена народом, там стало тесно, как в трамвае. Зиновию Ефимовичу дали громкоговоритель, и он сказал: «Мы столько просрали, что давайте сейчас стоять!»

Зиновий Ефимович, почему-то запомнил и нередко вспоминал слова, произнесенные Егором Гайдаром: «Самый серьезный риск сегодня — приход в экономику кухарки с пистолетом». В день, когда мы были с Гайдаром в театре «Школа современной пьесы» на спектакле «Ужин у товарища Сталина», я сказал Егору Тимуровичу, что буду смотреть этот спектакль уже не первый раз.

— Он вам так понравился?

— Может быть, не в этом дело, но в театре было очень много моих студентов. Они с любопытством ждали начала спектакля.

— Неужели молодежь еще интересуется тема Сталина?

Тут я вспомнил, что когда-то услышал от Зиновия Ефимовича слова: «Я не очень-то верю, что дети — наше будущее; мне иногда кажется, что дети — это наше прошлое». В тот день я вспомнил любимую поговорку Гердта, наверное, еще себежскую: «Если жизнь не становится лучше, наверное, она идет к худшему». И еще одна фраза артиста: «Я верю, что мы будем жить лучше. Но я до этого вряд ли доживу...»

Григорий Горин, очень любивший Гердта, побывавший на всех его последних «чаепитиях» в телепередаче «Чай-клуб» (Зиновий Ефимович вел ее с 1994 года до самой смерти), подарил ему такие стихи:

Хорошо пить с Гердтом чай!
Хоть вприкуску, хоть вприглядку.
Впрочем, водку невзначай
С Гердтом тоже выпить сладко.

Пиво, бренди или брага —
С Гердтом все идет во благо,
Потому что Зяма Гердт
Дарит мысли на десерт.

Ты приходишь недоумком.
Но умнеешь с каждой рюмкой,
И вопросы задаешь,

И, быть может, запоешь!

Гердт, при всей своей доброте, всегда чувствовал фальшь, двуличность людей. Он мог высказать вслух: «Не хочу общаться с этим человеком!» Да так, чтобы «этот человек» услышал.

Рассказывают, что перед митингом в Доме кино Гердта подстерегла у входа какая-то женщина, сказавшая ему: «Вы туда не ходите! Там жида!» Тогда Гердт сказал: «Я тоже жид». Женщина, смешавшись, пробормотала: «Вас-то я не имела в виду». — «Нет, вы именно меня имели в виду, и я рад этому». Это самое лучшее, на мой взгляд, окончание главы «Извечный вопрос».

Глава шестнадцатая ГЕРДТ О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ

Уча, мы учимся.

Сенека

Зиновий Ефимович Гердт, отвечая однажды на вопрос о его отношении к профессии преподавателя, заметил: «Учитель — это не профессия, тем более не специальность — это свойство души. При этом обязательно необходим талант, природный талант. Без этого учителем не станешь, впрочем, и доктором, и столяром-краснодеревщиком — тоже. Научить можно каждого, но вот эта, я бы сказал, художественность должна быть в человеке заложена».

В одном из интервью он сказал: «Живет в Ялте рабочий-изобретатель Николай Михайлович Богословский — многие с ним знакомы по телевизионной программе “Это вы можете”. Мастер на все руки, он демонстрировал придуманные им машины и устройства различного назначения. Вот какие люди, кстати, позарез нужны сегодняшней школе! Если бы я был директором, ей-богу, переманил бы этого человека из строительного управления, где он работает, в школу».

Были ли у Гердта учителя? Как известно, он нигде, кроме школы и ФЗУ, не учился, не то чтобы в театральном вузе. При этом считал, что получил вполне достаточное образование, хотя школу вспоминал без особых сантиментов: «Далеко не все учителя способствовали художественному развитию детей, были и такие, что воспитывали отвращение к литературе. Как они это делали? Наводя хрестоматийный глянец на великих писателей, на их творчество, по каким-то сколоченным полочкам, заставляя учить наизусть стихотворения, которые учить не хотелось... Я убежден, что детей нельзя заставить выучить стихотворение, но сверхзадача учителя — так его подать, чтобы ребенок сам захотел его выучить».

О лучшем своем учителе в себежской школе Гердт вспоминал так: «Это был удивительный по педагогическим убеждениям человек. Ему казалось, что все сидящие перед ним дети — гении. У всех учеников он предполагал необыкновенные таланты. Когда-то это свойство нашего учителя казалось мне чудачеством. Он абсолютный бессребреник. Знаете

частушку: “Полюбила педагога, денег нет — тетрадей много”?»

В своих выступлениях и в школе, и перед студентами Зиновий Ефимович не раз отмечал, что настоящий педагог — это тот, кто находит, выискивает у учеников таланты. Может быть, именно в этом, замечал Гердт, и состоит истинный талант учителя. Вспоминая своего учителя Павла Афанасьевича, он написал, что много лет спустя прочел такие строки — совсем про другого учителя, жившего в другое время и в другой стране: «Этот сумасшедший учитель считал меня умнее, чем я был на самом деле, так что мне и приходилось быть умнее. Он не заставлял меня чувствовать себя болваном, если мне не давался предмет, он видел во мне человеческую личность, а не судил по отметкам. Когда кто-нибудь опаздывал, он исходил из того, что опоздание вызвано уважительными причинами, о которых незачем спрашивать». «Прочитал и подумал: а ведь это про него, про нашего Павла Афанасьевича, написано. Я узнаю его с упорной оптимистической гипотезой, которую, наверное, можно считать признаком большого учительского таланта».

На одной из встреч Гердту задали вопрос, может ли он назвать своих учителей в искусстве. Не задумываясь, Гердт ответил: «Прежде всего, это русская и советская поэзия. — И подумав, добавил: — И Твардовский».

Как часто и даже настойчиво Гердт, по-настоящему любя русскую литературу, пропагандировал ее! Он считал ее единственным реальным способом воспитания интеллигентности в человеке: «Сегодня люди наизусть знают Пруста, Манна, Борхеса, но забыли “Дворянское гнездо” и “Вешние воды” Тургенева. Как это возможно? Быть русским, русскочитающим и предать забвению такое рассыпанное перед тобой богатство?»

По мнению Гердта, еще одно важнейшее для педагога качество — это воображение. «Добрый человек (а педагог не может быть иным) обладает воображением, понимает, каково другому, умеет чувствовать то, что чувствует другой. Человек, обладающий воображением, вспомнив себя в детстве и отрочестве, очень многое может понять и простить. Запомнился эпиграф к хорошей книге: “Посвящается всем детям — детям по возрасту и детям по душе”. Дети, как правило, награждены богатейшим воображением — это видно по их рисункам и играм».

И еще Гердт неоднократно говорил, что истинный педагог не меньше юриста должен чтить принцип презумпции невиновности: «Ни один настоящий педагог не оскорблял детей недоверием». Работая в кукольном театре Образцова, Зиновий Ефимович был не только актером, но и истинным учителем. По наблюдениям Гердта, в работе с детьми педагоги

недостаточное значение придают «волшебной силе слова». Ему принадлежит мысль: «В триединстве древних врачевателей, кроме лекарств, самое важное место принадлежало все-таки слову... Лучшим педагогам, которых я знаю, и не требуется мер воздействия на ребенка более сильных, чем слово». Как-то раз в беседе со мной Зиновий Ефимович прочел стихотворение Вадима Шефнера «Слова».

Много слов на земле. Есть дневные слова —
В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова — словно раны, слова — словно суд, —
С ними в плен не сдаются и в плен не берут...

Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Не случайно он говорил: «Мне кажется, из меня мог бы получиться хороший педагог. Справедливый, понимаете?»

Своим учителем Гердта считали многие, среди них и Людмила Гурченко. Поначалу, когда они еще не были знакомы, она влюбилась в его голос: «Что за голос?! Что за редкий голос прячется за куклой? Куклой, ведущей этот “Необыкновенный концерт!” Дура-то дура, а неординарное схватила сразу...» Она мечтала познакомиться с ним, услышать его голос вблизи, а главное, поучиться настоящему русскому языку (до Гердта она училась русской дикции у Левитана): «Я его выбрала. Я знала весь его закадровый текст из фильма “Фанфан-Тюльпан”». Познакомил Людмилу Марковну с Зиновием Ефимовичем в Ленинграде Марк Наумович Бернес, которого Гурченко знала еще по Харькову.

Когда Гурченко снималась в Ленинграде в фильме «Тень» по Шварцу, Гердт играл министра, а она — его любовницу. В день первой встречи ей больше всего запомнилась его необычная, «прыгающая» хромота — «это делало его оригинальным, запоминающимся». По ходу фильма Гурченко, еще тогда юная, села к Зиновию Ефимовичу на колени. Спустя годы Гердт вспоминал, что получил потом на встрече со зрителями записку:

— Скажите, что вы чувствовали, когда Гурченко сидела у вас на

коленях?

Артист ответил:

— Дай Бог вам хоть раз в жизни почувствовать то, что я тогда чувствовал!

Через много лет Гурченко написала в своих воспоминаниях: «Много-много было партнеров, но те биотоки были наивысшим ощущением юмора и оптимизма! Да это же здорово, когда тебя принимают и восхищаются». Рассказала она и о том, как любили друг друга Андрей Миронов и Зиновий Гердт: «Как они носились вдвоем по загульным весельям, вспоминали детали встреч». Среди прочих праздников Гурченко особенно часто вспоминала День Победы, который ей довелось встречать с Гердтом: «В тот день мы пили рюмку водки и за Татьяну Александровну, и за Булата Окуджаву, и за моего отца, участника войны. День Победы стал для меня одним из лучших праздников». Обычно в этот день Гердт ей звонил по телефону и говорил те слова, которые принято считать, как у Шефнера, «ночными»: «После тех его слов, ей-богу, можно сойти с верной дистанции и взлететь. И стать недосягаемой. Он узнал, что те слова он адресует человеку битому, и он никуда не взлетит. Эти слова ему нужны».

Последний раз Гурченко и Гердт пели вместе на его последнем юбилейном вечере. «У Гердта под лохматыми бровями заблестели его прекрасные, добрые глаза, а после песни я рассказывала о том, как нас познакомил Марк Бернес, и мы пели с Гердтом вдвоем песню “Солнечный мальчик” из “Лунной рапсодии” Гершвина», — вспоминала Людмила Марковна. После этой песни зал встал и долго аплодировал. Гурченко, и не только она, видела, что у Гердта кончаются силы, но они допели свою песню.

Среди актеров, о которых Гердт вспоминал в дни своего юбилея, заметное место принадлежит Инне Чуриковой. Вот ее размышления о Гердте: «Я очень гордилась тем, что он меня привечал. Каждый раз говорил мне комплименты, а я каждый раз рдела... К тому же он был, мне кажется, очень привлекательным мужчиной. Мужского рода, что очень важно. Обладал всеми теми качествами, в которые влюбляется женщина, и владел тайнами, которые нам так дороги... Он не раз читал мне Блока, и делал это бесконечно талантливо и умно. Настоящий аристократ, ведь аристократизм — это чувство равенства со всеми. Он сохранял достоинство и с представителем власти, и с простыми людьми. Притом что многие наши деятели культуры пригибаются перед людьми власти: головка уходит вниз, вырастает горбик...

Такой был друг... других таких не было и не будет! Он так интересно

рассуждал о жизни, что надо было ходить с магнитофоном и все записывать.

Постоянно рассказывал мне о фронте, о госпитале... Его рассказы оченьгодились в работе... Не считите за каламбур, но он учил людей прямо и верно ходить. Все его друзья в той или иной степени на него похожи. Да он просто солнышко!»

*

Все коллеги вспоминали о том, каким удивительным другом был Гердт. Но только самые проницательные заметили, что он был еще и умелым наставником, что после общения с ним люди становились лучше, чище, строже к себе и своим слабостям.

Что Гердт был истинным педагогом, можно судить по его отношению к приемной дочери Кате и к внуку Оресту, сыну Валерия Фокина. Он очень любил Катю и обожал делать ей разные подарки — например, на ее день рождения ночью лепил под окном дома снежных баб, чтобы преподнести ей приятный сюрприз. Слепленные им бабы всякий раз оказывались такими примечательными, что к ним подводили детей, чтобы с ними сфотографироваться.

Зиновий Ефимович рассказывал: «Я стараюсь облегчить жизнь своему внуку, подарить ему больше радости. Лучшая педагогика — педагогика разрешения: “Можно, можно, можно!..” Не сковывать проявления детской воли, не угрожать наказанием. Единственно, если поступил не по правде, не по справедливости, — тогда просто гнать в шею! Когда внук возвращается домой расстроенный (“Получил тройку!”), я говорю ему: “Плюнь, ты все поймешь, и еще сто раз исправишь. Иди, гуляй, играй в футбол, отправляйся в кино, только не маячь с кислой миной. Мне не нужны твои пятерки, я хочу видеть тебя порядочным человеком...” Я считаю, что с детьми не надо много разговаривать. Они живут в большей степени глазами, чем ушами. Воспитывать можно только наглядно, собственным примером... В Японии термин “воспитание” отсутствует. До меня косвенным образом доходят слухи, как мой внук вел себя в том или ином случае, и я удовлетворен».

Как-то раз Гердт сказал, что, если бы он не стал актером, он с удовольствием работал бы воспитателем в детском доме: «Вырастить поколение честных людей — это уже очень много». Но не стоит жалеть, что его педагогическая карьера не состоялась — он учил людей со сцены и

экрана, и после встречи с ним каждый становился хоть немного честнее, порядочнее, добрее. Это ли не прекрасный итог судьбы?

Глава семнадцатая ИЗРАИЛЬ И ГЕРДТ

Приходят царства и уходят царства, но Израиль пребывает вовеки.

Мидраш

В Израиле Гердт был не однажды. Не помню уже, почему, но как-то я разговорился с Исаем Константиновичем Кузнецовым об отношении Гердта к этой стране. Я знал, что он любит ездить в Израиль, что там живут многие его друзья.

Чем вызвано это теплое чувство? Чувствовал ли Гердт связь с народом, его породившим? Не задумываясь, Исай Константинович сказал: «Мне кажется, ощущение того, что Израиль — его страна, не было свойственно Гердту. Я не утверждаю этого, так мне кажется. Тем не менее мне рассказывали, что, находясь в Израиле по приглашению театра “Гешер”, Зиновий Ефимович ездил по городам Израиля с потрясающим спектаклем по Бабелю “Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна” вместе с актрисой театра Натальей Войтулевич. Все видевшие этот спектакль искренне сожалели, что не записали его на пленку».

Когда Гердт в 1994 году вернулся из этой поездки, он рассказывал, как тепло его везде принимали. За 42 дня он дал более двадцати концертов. Зиновий Ефимович напоминал зрителям, что для них он «сентиментальное воспоминание о родине». Ему постоянно предлагали остаться в Израиле навсегда, но надо ли говорить, что для Гердта это было совершенно невозможно? Зиновий Ефимович говорил: «Я, например, виделся в Израиле с Мишей Козаковым, я понимаю его проблемы. Но для меня подобный поступок исключен...»

По утверждению Гердта, из последних поездок за границу ему больше всего запомнилась поездка в Израиль, может быть, еще и потому, что гидом его был талантливый, неподражаемый Игорь Губерман. И Зиновий Ефимович прочел:

Изгнанник с каторжным клеймом,
отъехал вдаль я одиноко,
поскольку нагло был бельмом
в глазу всевидящего ока.

Еврею не резвиться на Руси
и воду не толочь в российской ступе;
тот волос, на котором он висит,
у русского народа — волос в супе.

Забавно, что томит меня и мучает
нехватка в нашей жизни эмигрантской
отравного, зловонного, могучего
дыхания империи гигантской.

Поездка эта была связана с выпуском в 1995 году книги «Гостевая виза. Двадцать взглядов на Израиль». Но посещая удивительные библейские места, встречаясь с друзьями и незнакомыми, но не менее радушными поклонниками, Зиновий Ефимович скучал по России: «Отвращения у меня Россия вызывать не может. Это моя радость, мое счастье».

В 1995 году Гердт в очередной раз побывал в Израиле на съемках документального фильма «Окно в Израиль». В этом фильме он немало рассуждал не только об истории этой страны, но и о своем отношении к ней. Он не только говорил за кадром, но и написал немалую часть сценария фильма. «Если вы когда-нибудь услышите мой голос за кадром, знайте: я никогда не читаю чужих текстов», — утверждал Зиновий Ефимович. Вот текст, составленный и прочитанный Гердтом: «Удивительное место Израиль. Ты едешь навестить друзей, родных, едешь в отпуск или на гастроли, а приезжаешь в гости к истории. И носит тебя по ее волнам из века в век, из эпохи в эпоху. Шутка ли, 40 веков! Мелькают знакомые имена: Понтий Пилат, Ричард Львиное Сердце, Иисус, Авраам, Шота Руставели... Ну как тут разобраться в огромной лавине информации? “Во всем мне хочется дойти до самой сути”, — сказал Пастернак. Того же хочется и нам, правда, времени маловато. О, Израиль, Израиль! Авторы этого фильма пробыли здесь несколько недель, а позже им захотелось рассказать, передать свое восхищение.

Много веков еврейский народ жил вдали от этой земли, другие завоеватели прошли по ней, давая ей свои названия и оставляя осколки своих цивилизаций. Только для евреев она всегда оставалась желанной Эрец Израэль — землей Израиля, духовная связь с которой никогда не нарушалась. Может, в этом и есть объяснение загадки евреев, о которой

писал нееврей Марк Твен? Египет, Вавилон и Персия возвеличились, расцвели, заполнили планету блеском и грохотом своей славы, а затем растворились в небытии истории. Греки и римляне последовали за ними. Многие прочие нации возвышались, держа высоко факел своего величия. Но факел догорел... Еврей всех их видел, и сегодня он такой же, как был всегда. Все та же неумная энергия, все то же неукротимое движение.

В чем же загадка евреев? В чем секрет их бессмертия? Здесь собрались люди со всего мира. Все они принесли с собой кусочек культуры той страны, где родились. Слышите, они поют древнееврейские тексты на латиноамериканский мотив? Отец семейства — выходец из Мексики, его супруга родом из Индии, познакомились они в Париже, а теперь живут в Израиле. Наверное, ни в какой другой стране нет такого разнообразного репертуара. Любимые песни новых репатриантов переводятся на иврит, и вот уже распевает весь Израиль русскую “Катюшу” или бродвейскую песенку на библейском языке.

Улица Бен-Иегуды носит имя человека, которого сто лет назад считали сумасшедшим. Он взялся за невозможное, решив возродить иврит, язык, на котором люди не общались уже 17 веков. Трудями этого человека чудо свершилось: мертвый язык воскрес. Говорят, язык — душа народа. Иврит — это по-прежнему язык Библии, на котором вместо “это мне нравится” приходится говорить “это находит милость в глазах моих”.

Правда, высокий штиль древнего языка успели засорить и арабскими междометиями, и английским сленгом, и русскими ругательствами. Современный Израиль похож на свой язык: где еще найдешь такую смесь суетного и вечного, ничтожного и великого, такую пестроту культуры или культур? А если сосчитать всех музыкантов и врачей в этой стране, то получится, что это самая музыкальная страна в мире и самая здоровая. И это неудивительно, если вспомнить, что на протяжении веков изгнания евреи не имели права ни владеть землей, ни обрабатывать ее. “Как можно скорее возвращайтесь в Иудею, — писал Вольтер французским евреям, — обрабатывайте эту убогую пустыню, как ее обрабатывали некогда, поднимайте земли на оголенные вершины иссушенных гор. Награда за труд не будет щедрой, но у вас будет доброе вино и много финиковых пальм, оливковых деревьев и стада. Упорный труд сделает плодородной землю, доведенную до запустения и упадка ее владельцами из Константинополя и Малой Азии”.

Сегодня маленький Израиль, со всех сторон окруженный врагами, не избалованный щедростью природы, смог стать одной из двадцати наиболее развитых стран мира. Израиль не только полностью обеспечивает себя

продуктами питания, но и продает их в Европу».

Судя по тексту фильма, соавтором которого был Гердт, Зиновий Ефимович неплохо изучил не только историю Израиля, но и географию: «Хорошо, что войска тут начеку — границы близко.

А из нашего окна Иордания видна,
А из вашего окошка — только Сирии немножко...

Так шутят в приграничных поселениях те, кто помнят стихи Сергея Михалкова.

Север, юг, запад, восток. Для крошечной страны, состоящей как будто из одних границ, эти понятия должны быть условными, но только не для этой страны. Ведь земля Израиля — это буквально маленькая модель планеты Земля со снегами Хермона на севере и почти африканской саванной на юге, у Красного моря, с зелеными холмами Галилеи и пустынями. Такой же калейдоскоп и с погодой: когда в Иерусалиме идет снег, в сорока километрах на Мертвом море можно купаться».

Конечно, Гердт побывал и на Мертвом море и искупался в его воде, небывлицы о которой слышал еще в детстве в Себеже: «Тот, кто посетил эту местность, может похвастать, что он ступил на дно мира. Эта долина лежит на 400 метров ниже уровня океана. Кстати, Теодор Герцль, основоположник сионизма, то есть движения за возвращение еврейского народа на Сион, в Израиль, предлагал соединить Мертвое море каналом со Средиземным и использовать гигантский перепад высот для получения электрической энергии, которой хватило бы всему Израилю. Так сказать, сионизм плюс электрификация всей страны».

Уж коли мы заговорили о сионизме, то хочу воспроизвести записанные мною мысли Зиновия Ефимовича об этом движении: «Я убежден, что сионизм направил евреев к новой жизни. И хотя я сам далек от сионизма, но уверен, что именно сионизм стимулировал евреев всего мира вернуться к своей истории после 18 веков угнетения. Вы ведь знаете, что очень немногие евреи вернулись из вавилонского пленения. Невернувшиеся же оказались опавшими листьями от дерева, то есть остались евреями только в силу душевной слабости и нежелания сохранить верность своему народу». Такие рассуждения я услышал от Гердта — я даже не поверил своим ушам. Разумеется, сионистом он никогда не был, однако любил историю своего народа и никогда не отрекался от нее.

И снова вернемся к размышлениям вслух Гердта об Израиле: «Мертвое

море, знаменитое соленое море Библии. Можно считать библейские предания сказками, но даже у самого неисправимого скептика замирает сердце, когда он впервые читает на придорожном указателе слово “Содом”. Да, где-то здесь стояли печально знаменитые города Содом и Гоморра. Из обреченных городов дано было выйти лишь семье праведника Лота. Может быть, в эту соляную глыбу и превратилась жена Лота, нарушившая запрет и обернувшаяся в сторону гибнущих городов». Сделав паузу, Гердт сказал: «Послушайте одно из лучших стихотворений Анны Андреевны Ахматовой, очень любимое мною. Называется оно “Лотова жена”»:

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Неподалеку от Мертвого моря расположен Иерихон — самый, думается мне, древний город мира: ему больше чем десять тысяч лет. И до наших дней здесь сохранились развалины, руины этого города. Сегодня здесь живут арабы и несколько отважных еврейских семей, у которых нет сил покинуть этот город. Десятки раз он был разрушен и вновь возрождался, словно выростал из этой земли, самой плодородной в Израиле. В Иерихоне стояли роскошные зимние дворцы иудейских царей. Иерихонскую долину подарил Клеопатре влюбленный Марк Антоний, и это был поистине царский подарок. А за тысячу лет до этого стены Иерихона пали от звука труб израильтян, пришедших в обетованную Землю из египетского рабства после сорокалетних скитаний по пустыне.

Для иных пустыня — нечто унылое, безжизненное, однообразное. Но для евреев пустыня — символ свободы. В пустыню уходили правдоискатели и пророки, разгневанные несправедностью царей. Когда-то ее пьянящий воздух превратил племя рабов в свободный и гордый народ. В пустыне Бог вручил Моисею скрижали с десятью заповедями, которые стали основой морали для всех народов. Давно минули времена, когда Бог много и охотно напоминал евреям о своем присутствии в этом мире. Вручив свои заповеди Моисею, Господь оставил людей наедине с Торой. Но случилось реальное чудо: законы Торы накрепко связали еврейский народ, не позволив ему смешаться с другими народами, раствориться в мире, исчезнуть во время тысячелетних скитаний. Во все времена ежедневно Тора напоминала евреям, кто они такие и где их дом».

*

Зимой 1995 года в Доме актера на Арбате происходила презентация коллективного сборника «Гостевая виза. 29 взглядов на Израиль». В числе его авторов были Нонна Мордюкова, Борис Чичибабин, Евгений Леонов, Лев Разгон, Лидия Либединская, Марк Захаров, Александр Иванов, Борис Жутовский, Зиновий Гердт. В тот вечер наша «пятиминутка» получилась особенно длинной.

Среди прочего Зиновий Ефимович говорил: «Если человек слишком углубляется в национальный вопрос, недолог путь к национализму... А внешность, черты лица — неужто по этому судить о национальной принадлежности того или иного человека?..

Помню, не раз говорил мне покойный Дезик (Давид Самойлов. — М. Г.): «Национализм возникает у людей, потерявших не только уверенность в себе, но и уважение к себе. Национализм не только не синоним слову патриотизм, но скорее антоним»».

Стоявшая рядом Лидия Борисовна Либединская заметила: «Если уж судить о национальной принадлежности по внешности, то ни в Пушкине, ни в Лермонтове нет и оттенка славянской внешности. А Гоголь? Разве он похож на типичного русского? А есть ли более русский писатель, чем Николай Васильевич? О его отношении к евреям говорить не буду, но если уж о внешности — она далека от русской».

Вся наша компания — кроме упомянутых, там были Борис Жутовский, Юрий Рост, Александр Иванов — расхохоталась, а Зиновий Ефимович, задрав голову, поглядел на Иванова и обратился к окружающим:

«Посмотрите, вот Саша Иванов, и по происхождению, и по языку — русский человек и истинно русский поэт. А многие его принимают за еврея: длинный нос, печальные глаза, насмешливый взгляд... А уж за мастерство и умение съехидничать, высмеять — его начисто причислили к евреям, как будто ирония, насмешливость, юмор свойственны только этой нации». Тут в разговор вмешался сам Александр Иванов: «И все же иронизировать над собой, сочинять анекдоты о себе, смеяться во спасение евреям свойственно больше, чем другим народам». И он прочел стихи Игоря Губермана:

Под грудой книг и словарей,
Грызя премудрости гранит,
Вдруг забываешь, что еврей;
Но в дверь действительность звонит...

...В природе русской флер печали
Висит меж кущами ветвей:
О ней не раз еще ночами
Вздохнет уехавший еврей.

Здесь в стихотворную «дискуссию» включился художник Борис Жутовский, прочтя строки того же Губермана:

Я сын того таинственного племени,
Не знавшего к себе любовь и жалость,
Которое горело в каждом пламени
И сызнова из пепла возрождалось.

Лидия Борисовна и я закурили, я предложил сигарету и Зиновию Ефимовичу, но он отказался: «Уже накурился, больше шестидесяти лет курил очень много, недавно бросил. Разумеется, инициатива исходила не от меня». Неожиданно он встал прямо, будто на сцене, и прочел собравшимся еще одно стихотворение Губермана:

Летит еврей, несясь над бездной,
От жизни трудной к жизни тяжкой,
И личный занавес железный

Везет под импортной рубашкой.

И снова вспоминаются мне слова Гердта, записанные вскоре после вечера в Доме актера: «Я — человек в полной мере политизированный. В своих освободителях я первым числю Горбачева. Если задуматься, то даже разговаривать о первом лице государства в вольных тонах без него сейчас было бы невозможно. Я никогда не забуду, что он сделал для меня лично, — он дал мне свободу... Помню, когда Горбачев стал генсеком, на третий-четвертый день среди какой-то уличной публики он спрашивал: “Вам не надоело слышать одно, а видеть другое?” Я подумал: “Боже мой, его посадят!..”».

Пройдут годы, и Гердт полюбит человека, сменившего Горбачева и очень высоко оценивавшего его деятельность. И тем не менее Зиновий Ефимович рассказывал: «А что касается Ельцина, то он меня восхитил, когда выходил из партии... Если бы был объявлен конкурс на лучший короткий документальный фильм, то думаю, им стали бы кадры, как Борис Николаевич Ельцин выходит из партии. Я залюбил его на всю жизнь...»

Разумеется, Гердт далеко не во всем соглашался с Ельциным: «Он доверял жутким советчикам. Умение выбрать советчиков — это талант, которым наш президент не обладал». Зиновий Ефимович вспоминал: «Самое жуткое разочарование в старости моей — это он (Ельцин). Я всю старость его любил! Я всю старость им восхищался! Я всю старость болел за него! И такое разочарование на меня обрушилось. Я иногда думаю: может, я не виноват? И старость моя тут ни при чем? Может, это с его возрастом связано: старческая нетерпимость (в Чечне), несправедливость (к Сергею Ковалеву), неразборчивость в людях...» Говорил он и другое: «Он разочаровал меня, хотя, как большинство населения, я не вижу никого другого в тот момент на его месте».

Отношение Гердта к политикам могло меняться, но отношение к России оставалось неизменным. Он мог восхищаться красотой других стран, их чистотой, порядком, изобилием. Мог глубоко чувствовать свое родство с землей Израиля, с его народом. Но родиной своей он считал только Россию. «Я побывал во многих странах, — говорил он, — это были интересные и замечательные путешествия, встречи... Но любовь моя к России — это прекрасная и, как сказано у поэта, “высокая болезнь”».

Глава восемнадцатая «НЕ НАДО ВСЕ СВАЛИВАТЬ НА БОГА...»

Однажды Гердта спросили:

— Зяма, как жизнь?

— Проходит... — ответил актер.

В последние годы и особенно месяцы жизни здоровье Гердта заметно ухудшилось. В беседе с журналистом «Московского комсомольца» Ильей Мильштейном Зиновий Ефимович сказал: «Я знаю, что старость — неприятная вещь, но никак не мог предположить, что она до такой степени отвратительна. Мои недуги усугублены ранением: одна нога у меня короче другой, поэтому искривлен позвоночник... Иногда, уже просто исходя кашлем, я прижимаюсь к Тане и шепчу (умоляюще): “Боже мой, помоги мне... я хочу умереть... нет, я не хочу умереть, но я не могу больше!”».

Рассказывают, что когда Зиновий Ефимович был уже безнадежно болен, только Татьяна Александровна находила слова: «Зямочка, надо». И слова эти оказывались действенными. Но в периоды — к концу жизни их становилось всё меньше, — когда приступы болезни отступали, Гердт громогласно сообщал, что не желает интересоваться своим здоровьем: «Это для меня неинтересная тема! Ну что жаловаться? С годами я все чаще попадаю в больницу. Там у меня постепенно выработалась система “сравнительных недугов”. Я вижу, как страдают и умирают люди, которые гораздо моложе меня. После этого сетовать на свои телесные муки стыдно и гадко. Это невыносимо, просто невозможно! И я не жалею. Пока не душит новый приступ...»

Только приступ заканчивался — Зиновий Ефимович становился другим человеком: встречался с друзьями, появлялся на всевозможных мероприятиях: «Если здоровье позволяет и есть настроение, я хожу на тусовки. Только ставлю условие, что не будет двух лично мне неприятных людей. Все остальное человечество меня устраивает, а они — нет. Причем речь идет не о моих врагах. Они-то ко мне относятся с большим почтением... Но я их столь не почитаю, что просто... внуку показываю: вот видишь, мальчик, по телевизору выступает человек, он многого добился в жизни, но, поверь мне, как это ужасно — быть внуком такого человека!»

У Гердта и прежде случались приступы беспричинной тоски, ужасного чувства подавленности, которое невозможно объяснить. Теперь они стали

чаще. Спасали друзья, которых он всегда ценил и не уставал называть поименно. Правда, многие из них уже ушли — Булат Окуджава, Давид Самойлов, Михаил Львовский. Тем дороже были те, что остались: Александр Ширвиндт, Петр Тодоровский, Михаил Швейцер, Валентин Гафт.

Вот рассказ Зиновия Ефимовича о его коллеге и друге Евгении Вениаминовиче Сперанском: «Он замечательный поэт и прозаик, в прошлом — один из основателей образцового кукольного театра. Ему 92. У него дача в “Туристе”, по Савеловской дороге; я отвожу его туда каждый год. Да какая дача: двухэтажный куриный домик, мансардочка. Внизу живут две женщины: жена и ее сестра. Он просыпается каждый день в шесть утра, по вертикальной стремяночке забирается в свою келью, садится за машинку и сочиняет... Но прошлое лето было таким холодным, что у него коченели пальцы. А дров для печки маловато. И он собирал валежник. А после мне рассказывал, как собрал все ветки на участке и... дворик таким красивым стал! “А я ведь работаю на красоту, — объяснял он мне, — значит, неважно, что я в тот день ничего не написал, правда?” Это меня так восхитило!»

Но ни родные, ни друзья не могли отвлечь артиста от размышлений о смерти, о том, что он оставит после себя. Однажды он признался мне (а может быть, у него просто вырвалось), что не хочет быть верующим: «Слишком поздно ко мне пришло размышление об этом. Поздно, поздно...»

Боялся ли он смерти, посмертного воздаяния? Мне, да и не только мне, казалось, что нет. Синагогу он не посещал, да и в церквях не бывал, разве что в качестве туриста. Скорее, он жалел о возможностях, упущенных им в жизни, о ролях, которых не сыграл, о людях, которым не смог помочь. Известно, что он не раз повторял слова из Мидраша: «Ребенок входит в мир со сжатыми кулаками: “Весь этот мир — мой, и быть ему в моих руках”. Человек покидает мир с раскрытыми ладонями: “Вот я ничего с собой не забираю”». Воистину, Гердт все оставил нам, живым.

Я нашел в своих записях беседу с ним по телефону. Это было под Новый, 1996 год. Я высказал ему свои пожелания, а он, не дослушав их, сказал: «Я знаю, вы пожелаете мне долголетия. Знакомо ли вам имя Бахья бен Ашера, еврейского философа, жившего в Испании в XIV веке? Так вот он сказал, что всякий, кто часто думает о смерти, улучшает себя». Я же напомнил слова Гейне о том, что «человек, постоянно размышляющий о смерти, наполовину мертв». Спустя какое-то время я позвонил Зиновию Ефимовичу и попросил его записать афоризм из «Этики» Спинозы:

«Свободный человек ни о чем так мало не думает, как о смерти; мудрость его заключается в размышлении не о смерти, а о жизни». «Я так и знал, что в нашем разговоре точку поставит Спиноза», — произнес Гердт.

Вот рассказ, услышанный мною от Игоря Губермана: «Как-то осенью в Иерусалиме мы стояли у гробницы царя Давида — Таня, Зяма и я. Я рассказывал им об этой пещере. И вдруг... из тьмы, отделившись от какой-то стены, появляется мальчик и говорит: “Зиновий Ефимыч, а можно автограф?” Зяма говорит: “Нельзя, мальчик, а то дядя Додик обидится”. Нельзя, понимаете... страшно будет, если обидится царь Давид».

Гердт как-то сказал: «Я знаю, что там ничего нет. Остается только людская память. И больше ничего... Да, я боюсь смерти, но знаете... на миру и смерть красна». Это сказал человек, не раз встречавшийся со смертью на войне.

В фильме Тодоровского «Фокусник» есть такой диалог:

— Мой муж, — звучит под сводами голос героини (актриса Алла Ларионова), — переживал все важное и неважное. Он получил инфаркт и умер. Дайте мне слово, что вы не будете таким!

— Даю! — разносится чуть хриловатый, до боли узнаваемый голос любимого артиста.

И действительно, трудно было представить, что когда-нибудь этот человек уйдет из жизни... Мне вспоминаются слова, сказанные другом Гердта Григорием Гориним. Он рассказал арабскую притчу:

— Отчего умер твой брат?

— От жизни...

А в одном из псалмов сказано: «Никто не в силах выкупить у смерти брата».

Петр Тодоровский вспоминает: «Когда Зяма, совершенно больной, лежал в больнице, медсестры рядом с ним хохотали, не переставая! Это был удивительный жизнелюб. На последнем творческом вечере его на сцену выносили на руках. Но он собрался с силами, встал, шагнул к рампе и прочитал стихотворение Давида Самойлова. На этом же вечере Роберт Ляпидевский, ученик и друг Гердта, прочел стихотворение:

Он с детства каждому знаком
Морщинками столь милых черт,
Но подступает к горлу ком,
Когда подходит к рампе Гердт.

Его судьбы открыт конверт!

И пусть гремят овации,
Ведь он у нас единый Гердт
Российской Федерации.

Так же, на руках, его поднимали на третий этаж дома, где проходили съемки передачи «Чай-клуб».

Лидия Федосеева-Шукшина однажды участвовала в его программе. Она вспоминает: «С тех пор у меня остался подарок — очень красивый чайничек. Мне было вдвойне приятно это приглашение, потому что Гердт снимался у Шукшина в “Печках-лавочках”. У них была удивительная взаимная привязанность, ведь Зиновий Ефимович был гениальным рассказчиком, а Василий Макарович — гениальным слушателем. Для Шукшина порой было достаточно одной фразы, чтобы написать на ее основе рассказ».

На одном из первых заседаний «Чай-клуба» Зиновий Ефимович произнес: «Старая цирковая лошадь, услышав фанфары, встает на дыбы. Это кураж».

Это была далеко не первая работа Гердта в роли телеведущего. Еще в 1962 году Зиновий Ефимович был ведущим нескольких выпусков «Кинопанорамы», но не смог работать на телевидении, так как был слишком требователен к своей внешности и ему не нравилась атмосфера: все слова ведущего заранее утверждались и после эфира перепроверялись, чтобы не допустить никаких вольностей. А Гердт не мог говорить по бумажке.

Он знал о своей тяжелой болезни, но жил так, словно ничего этого нет, и даже юмор остался прежним. И интеллигентность, и требовательность к себе.

Гердт сказал однажды: «Одна из тончайших вещей на свете — ирония, обращенная на себя». А чуть позже высказался так: «Очень мало есть людей, обладающих самоиронией. И это очень вредит им в моих глазах». По его наблюдениям, «люди, которым не дано понимать, воспринимать юмор — таких людей жаль, им можно посочувствовать. Дети справедливее, чем взрослые, воспринимают шутку, юмор». И еще одно замечание, высказанное Гердтом: «При шизофрении больные теряют способность по-настоящему воспринимать шутку. Юмор — тем более». «Зиновий Ефимович никогда не ранил своими шутками, не шутил обидно, не трунил над внешностью — это было не в его характере. Людям, которые пытаются публично “юморить”, стоило бы поучиться такту, деликатности и

истинному юмору, каким владел Зиновий Гердт», — говорил актер Владимир Конкин.

Гердт был не просто записным остряком, какие встречаются в любой компании — он был весь пропитан юмором жизни, замечал его и не упускал. А возможность взгляда на жизнь и ее проявления сквозь юмор очень сильно помогает человеку жить и преодолевать любые сложности. Его юмор можно охарактеризовать как юмор со знаком плюс. Если Гердт говорил о каком-то предмете или, например, об известном человеке с юмором, то это никоим образом не роняло ни предмет, ни человека. Напротив, поднимало их, подсвечивало и подкрашивало каким-то особым светом.

Он хорошо знал афоризм Станислава Ежи Леца: «Юмор, пожалуй, единственное изобретение, отделяющее людей от скотов». Еще четче на эту тему сказал Честертон: «Человек, который хотя бы отчасти не юморист — лишь отчасти человек».

Немудрено, что о Гердте сохранились не только мемуарные записи, статьи, критические отзывы — о нем, как о любом человеке-легенде, слагались байки. Вот некоторые из них.

Когда тариф на такси увеличился с десяти копеек за километр до двадцати, все москвичи «забастовали», и несколько дней такси стояли свободными. Мимо вереницы такси идет Зиновий Гердт. Таксист кричит ему:

— Хозяин, поехали!

А Гердт, не останавливаясь:

— Нет-нет. Я в парк.

Однажды Гердт с труппой театра кукол Сергея Образцова был приглашен в Японию. Собирались показать «Необыкновенный концерт», где Гердт озвучивал роль конференсье. Работников театра решили научить нескольким обиходным японским словам, типа «здрассте-до свидания-спасибо», из дани вежливости к хозяевам. Один из закулисных работников, какой-то там слесарь-осветитель, допустим, дядя Вася, большой любитель выпить, все никак не мог запомнить слово «спасибо» — «аригато».

Наконец Гердт ему сказал:

— Вася, есть такое молдавское вино, тебе хорошо известное — алиготе. Вот и запомни: алиготе — аригато.

Дядя Вася просиял, затем полдня ходил и тихо бормотал: «Алиготе — аригато, алиготе — аригато...»

Вечером Гердт услышал, как дядя Вася, после вкусного обеда,

устроенного хозяевами в их честь, сопровождаемого обильными возлияниями местного пива и саке, поблагодарил одного из японцев:

— Каберно!

Гердт ездил за границу с сорок девятого года, и у него постепенно появилось там много знакомых. Был среди них и японец, славист по специальности. Этот удивительный японец говорил по-русски, то есть он думал, что говорит по-русски, а сказать ему правду в Японии было некому. Но речь не об этом.

Однажды Гердт спросил своего нового знакомого, того самого слависта, над чем он сейчас работает.

— Пишу диссертацию, — ответил японец. Гердт поинтересовался темой, и японец с поклоном ответил: — Ранний Блок.

Гердт от неожиданности даже испугался и спросил: кому в Японии нужен Блок, к тому же ранний?

Японец немного подумал и уверенно ответил:

— Мне.

На гастролях в Одессе Гердт решил прогуляться по Дерибасовской. У памятника дюку Ришелье к нему подошла юная девушка: «Я — Роза, мне сегодня исполнилось 15 лет, поздравьте меня!» Гердт берет протянутый альбом и пишет поздравление. Молодая одесситка получает альбом и изрекает: «Ладно, Боярского поймать не удалось, обойдемся-таки Гердтом!»

Гердт как-то рассказывал: была у него соседка, милая и добрая женщина, но очень уж серьезная: никакого чувства юмора. Однажды Зиновий Ефимович пытался ей анекдот рассказать, начинающийся словами «Умер один мужчина...», а она его вопросами засыпала: как его звали, отчего он умер, долго ли болел, были ли у него дети... Однажды решил Зиновий Ефимович ее разыграть. Ровно в шесть вечера звонит ей по телефону и измененным голосом спрашивает: «Простите, а Сан Саныча (допустим) можно к телефону?» — «Нет, вы не туда попали». Перезванивает ей ровно через полчаса и задает тот же вопрос другим голосом. И так каждые полчаса. Другой бы уже послал подальше или трубку снял, но она женщина интеллигентная, отвечала на все звонки и вежливо говорила, что такого здесь нет. Развязка должна была быть в полночь. Гердт звонит ей в очередной раз и говорит: «Здравствуйте, это Сан Саныч. Мне никто не звонил?» Ответ сразил Гердта наповал: «Сан Саныч,

куда же вы пропали? Вас уже полгорода ищет!»

В Израиле, когда театр «Гешер» устроил гердтовский «Бенефис», Евгений Арье поставил небольшую сцену из «Костюмера» Рональда Харвуда для двух актеров — почетного гостя и Евгения Гамбурга, артиста «Гешера». Но перед этой сценой Гердт рассказывал свои знаменитые байки. Видимо, воодушевленный теплым приемом зрителей, он несколько увлекся — и забыл, что давно пришла пора «Костюмера»: партнер опаздывал на спектакль в другой город. Актеры начали подавать отчаянные сигналы из-за кулис, однако вошедший в раж Зиновий Ефимович ничего не замечал. В конце концов на сцену вышел «незапланированный» Владимир Халемский со стаканом воды на подносе. Гердт замолчал, удивленно глядя на Володю, который невозмутимо, но с акцентом на первом слове произнес: «В Гамбурге в это время принято пить воду!» Гердт расхохотался и объяснил зрителям: «Это они меня таким образом решили согнать со сцены! Ну, молодцы, ребята!»

Гердт вообще очень радовался, если рядом с ним оказывались профессионалы. Геннадий Хазанов вспоминает, что во время последней встречи с Гердтом Зиновий Ефимович сказал ему: «Уметь любить чужой талант — это тоже талант». И еще: «Знаешь, что раздражает? Так как я стар, люди меня внимательно слушают, потому что считают очень умным. А на самом деле это не так. Посмотри на меня и крепко запомни: умные люди выглядят как раз наоборот».

Смех, юмор — без них немыслим Гердт. Генрих Гейне сказал: «Серьезность величественнее, если путь ей прокладывает смех». Зная Зиновия Ефимовича, его выступления перед зрителями, думается, что слова из рассказа Бабеля, которого он бесконечно любил и часто цитировал, здесь вполне естественны: «У всякого глупца хватает причин для уныния, и только мудрец разрывает смехом завесу бытия». В этих словах не только Бабель, но и сам Гердт.

*

Зиновий Ефимович, тяжело болевший последние годы жизни, мужественно преодолевал свои недуги: так велика была его любовь к жизни, жажда жизни.

В 1996 году Валерий Фокин поставил в театре Олега Табакова спектакль «Бобок» по Достоевскому, где действие происходит на кладбище. Пришедший на премьеру Гердт смотрел на одну из могил как-то замороженно. Кто-то оторвал его от раздумий:

— Ну, чего ты так туда смотришь?..

— Очень не хочется туда...

Сидевшие рядом с ним были удивлены, потому что он так серьезно это сказал... Когда ты еще не близко стоишь к этой черте, то для тебя это только слова, но слова эти были сказаны вроде тихо, почти про себя, но осознанно.

Валерий Фокин вспоминал: «До последней недели у Гердта было полное понимание и совершенно свежая голова. Твоя физика уже отказывает, а ты чувствуешь себя абсолютно молодым человеком — вот этот контраст, я думаю, был самым угнетающим обстоятельством последних дней жизни Зиновия Ефимовича. Он так же продолжал получать удовольствие и от жизни, и от приходящих в дом людей, от хороших новостей — только уже лежа в постели».

Однажды я услышал от Гердта: «Не надо все сваливать на Бога. Это история избрала евреев, но, видимо, избрала для трагедии. В этом, вероятно, судьба. Впрочем, как и судьба короля Лира. Жаль, что я никогда не сыграю Лира. Завидую Михоэлсу».

Зиновий Ефимович, уже тяжело больной, незадолго до кончины сказал по телефону Лидии Борисовне Либединской: «Жизнь напоминает неизлечимую болезнь, от которой нормальные люди умирают, а выживают лишь те, кто никогда не рождается».

Случилось так, что последний фильм с участием Зиновия Ефимовича, вышедший при его жизни, — это гоголевский «Ревизор» (1996 год). Быть может, это была самая заветная мечта Гердта и, к счастью, она осуществилась. Актер и режиссер Сергей Газаров снимал фильм в Праге со звездным ансамблем актеров: Хлестакова играл Евгений Миронов, Сквозник-Дмухановского — Никита Михалков, Анну Андревну — Марина Неелова, Марию Антоновну — дочь Михалкова Анна. Гердт сыграл зрителя училищ Луку Лукича. В фильме также были заняты Олег Янковский (Ляпкин-Тяпкин), Авангард Леонтьев (Добчинский), Армен Джигарханян (в роли слуги Хлестакова Осипа).

А вот последний фильм, в котором снялся Гердт, «Война окончена. Забудьте...» по сценарию Галины Шерговой и с музыкой Микаэла Таривердиева вышел уже после кончины артиста, в 1997 году. Фабула

фильма проста: сын обыкновенной русской женщины (она, разумеется, главная героиня) служит в армии. От него долго нет сообщений, и сердце матери отправило ее на поиски сына. Чего только ни делала мать для сына, но вырвать его из Чечни не удалось. В итоге солдат дезертировал, однако ни к чему хорошему это не привело: судьба его складывается трагически, будущего у него нет. Фильм этот стал своеобразным памятником людям, чья судьба была исковеркана чеченской войной.

*

Что-то схожее в последних годах жизни Зиновия Гердта и его первой жены Марии Новиковой. Как и Гердт, она прожила 80 лет (скончалась в 2004 году). В 1993 году у нее обнаружили рак, сделали операцию. Она, зная об этом, жила так, как будто ничего нет, спокойно и отстраненно. «Меня это поражало. Так же и папа, я думаю. Болезнь болезнью, а жизнь жизнью. Зачем без конца себя мучить?» — вспоминает сын Гердта Всеволод Зиновьевич. В беседе с ним, состоявшейся незадолго до смерти, на вопрос: «Ну как ты?» — Зиновий Ефимович ответил: «Скорее бы!» На что Всеволод Зиновьевич сказал: «Ну что ты? Как ты так можешь говорить?» — «Всему свое время, там же все записано, кто, когда...»

Однажды в разговоре со мной по телефону — это был хороший майский день 1993 года — Гердт, пребывавший в отличном настроении, сказал: «Матвей Моисеевич, запишите слова, которые я вам сейчас скажу. Я не во всем с ними согласен, но выдаю их за свои, хотя принадлежат они кому-то из наших себежских мудрецов: “Что бы ни случилось, человек должен продолжать жить. Если нет других поводов, то хотя бы из любопытства”».

Вспоминая о Зиновии Ефимовиче, артист Евгений Миронов отмечал, что «величие его фигуры не ощущалось». Миронов отмечал, что он попал в «поле притяжения» Гердта, и едва ли не с начала знакомства ему не хотелось выходить из этого поля. За несколько дней до кончины Гердта Миронов, узнав, что актер совсем плох, вспоминал: «Ехали с замиранием сердца. Как войти? Что сказать? А главное — страх увидеть беспомощного Зиновия Ефимовича, другого, каким я его не знал...» В тот день Миронов впервые пришел в дом к Гердтам: «Все веселятся. Невероятно. Даже неприятно, ведь умирает Гердт. Заходим к нему в комнату. Лежит. Рядом сидит Хазанов. Подходим ближе. И вдруг те же глаза, тот же тон, что и

тогда, много лет назад, веселый, легкий до неприличия...»

Гердт умер 18 ноября 1996 года...

В газетном некрологе журналист Марина Райкина писала: «Все это давно перемешалось и перебродило в нашем сознании, как составные дорогого марочного коньяка, подарив нам потрясающее и незабываемое явление под названием Зиновий Гердт. Теперь его не стало. Пауза. Тишина.

Его любили, им восхищались. Ему устраивали юбилейные вечера, и не один, а в каждую более или менее круглую дату. Его уважали и побаивались его крутого нрава. Его оценки ждали и волновались, что он скажет по тому или иному поводу. Словом, Зиновий Ефимович Гердт был своего рода культовой фигурой советской и постсоветской действительности. И не зря. Фигура, безусловно, незаурядная, весомая, нечто вроде ладьи на шахматной доске...»

Откликнулись на печальное событие и сильные мира сего, В. С. Черномырдин, А. Б. Чубайс, Ю. М. Лужков, М. Е. Швыдкой и другие: «Заслуги Зиновия Ефимовича Гердта получили высокую оценку Родины. Он удостоен высокого звания “Народный артист СССР”, награжден орденами Красной Звезды, “Знак Почета”, “За заслуги перед Отечеством” III степени. Неповторимый талант Зиновия Ефимовича Гердта, его преданность российскому искусству останутся с нами навсегда. В 1996 году на Седьмом открытом кинофестивале в Сочи получил приз президента России “За личный вклад в киноискусство”».

Последний орден Гердту вручили незадолго до смерти. Об отношении артиста к этой награде красноречиво свидетельствует Евгений Миронов: «“Ребята, вы не видели мой орден? Нет? — шарит рукой по столику. — Таня! Катя! Б..., где орден? — Приносят. Положили на грудь. — Вот, Женя, орден “За заслуги перед Отечеством” третьей степени. — Помолчал и добавил: — Толи заслуги мои третьей степени, толи Отечество!..”».

Памяти Зиновия Гердта посвятила свои стихи поэтесса Светлана Аксенова-Штейнград:

Смерть пряталась суфлером за кулисой,
Последний акт суфлируя судьбе.
А Гердт играл премьеру бенефиса —
Веселые поминки по себе.

Так фокусник с еврейскими глазами
Последний фокус выдумал на славу:

Сказав «Шалом!» в своем последнем зале,
Навек покинул русскую державу.

Он на прощанье грустно улыбнулся,
Любимец общий гоев и изгоев.
И, наконец, на родину вернулся —
Оле хадаш Небесного Покоя...

Недалеко от Гердта, на Кунцевском кладбище, похоронены бывший руководитель его студии Алексей Арбузов и любимый им писатель Юрий Трифонов. Зиновия Ефимовича предлагали похоронить на Новодевичьем, но Татьяна Александровна отказалась — по ее словам, ей не хотелось, чтобы ее мужа «похоронили в парке».

О Гердте сохранилось множество воспоминаний. Вспоминает Михаил Ульянов: «Он был первоклассным мастером. Профессионалом. Актер, не будучи таковым, никогда не сможет так потрясающе понимать и читать поэзию и литературу и при этом быть таким же земным человеком, как самый невзыскательный зритель. Он обладал таким чувством иронии, — свались она на актера менее талантливого, пусть даже и обвешанного званиями, то просто пришибла бы его, сделала из него циника и пижона. Зяма был недосыгаем в вершинах юмора и иронии и доступен всем одновременно».

Хорошо знавший Гердта, любивший его и нередко работавший вместе с ним Олег Павлович Табаков сказал: «Я всегда дивился его запасам жизнелюбия, бесконечному юмору. Бывало так, что мы подолгу друг друга смешили. Я нежно любил его и люблю. Мы с Зиновием Ефимовичем вместе озвучивали и комментировали фильм “Если бы Ильф и Петров ехали в трамвае”. Часто встречались и в компаниях после спектаклей или съемок. Он был неизменно умен, остроумен и интеллигентен. Я могу вспомнить очень немногих людей, которые одновременно обладали всеми этими тремя достоинствами! Он был удивительно красив, хотя его нельзя было назвать ни Робертом Рэдфордом, ни Рудольфом Валентино, ни даже Вячеславом Тихоновым. Но он всегда был удивительно мужествен и элегантен, чем сильно воздействовал на женский пол».

Несмотря на свою занятость и состояние здоровья Зиновий Ефимович в последние годы жизни был «по-новому» популярен. На вопрос одного из зрителей: «Счастливы ли вы?» — Гердт ответил так: «Несчастлив потому, что очень редко соглашаюсь с общепринятым суждением о себе. Но с

другой стороны, может быть, все же я счастлив, так как не попал в большую армию коллег, наивно верящих во все комплименты, что им говорят...»

Разумеется, во время таких «пресс-конференций» вопросы были самые что ни есть различные. Не раз его спрашивали, что такое талант, искусство. Он отвечал на этот достаточно банальный вопрос по-разному. Однажды сказал: «Шкалу оценок надо составить с умом и тактом и, прежде всего — трезво оценивать себя. Достигнуть высоты, которая называется Искусством, — удел редкий, дар божий. Достигал ли я сам этой высоты — не знаю. Искусство не имеет качеств, оно не бывает лучше или хуже, оно или есть или его нет». Неоднократно в таких случаях Гердт говорил, что главное — не путать искусство с ремеслом, каким бы оно ни было. Достигнуть высоты в искусстве удастся немногим и далеко не всегда.

Считает ли он, что в среде актеров-современников кто-то добрался до этих высот? «В деле, которому служу, чаще всего замечаю подлинные взлеты у Инны Чуриковой, Алисы Фрейндлих, Марины Нееловой, Валентина Гафта. Талант плюс отточенное долгим трудом мастерство. Мастерство, а не ремесло!»

*

Замечательная русская поэтесса Сара Погреб, уже много лет живущая в Израиле, хорошо знала и любила Гердта, посвятив ему немало стихов. На ее юбилее в Тель-Авиве в 2010 году побывала и Татьяна Александровна Правдина. На этом юбилее Сара Абрамовна прочла одно из стихотворений, написанное вскоре после кончины Гердта:

Он не дождался в этот год метели.
Без нас уплыл к невыразимой цели
И, в немоту укутанный, плывет...
Но Брамс,
но баритон виолончели
Напомнил мне нетленный голос тот.

Пока живу, покуда чудо длится
И под дождем олива шевелится
И я в тиши губами шевелю,
В любимых строчках —

все презрев границы —
Он здесь. За всех твержу ему: люблю.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Город Себеж в начале XX века



Дом в Себеже, где прошло детство Гердта



Семья Храпиновичей в 1922 году



Залман Храпинович (слева) с братом Борисом



*Артисты студии Арбузова — Плучека в спектакле «Город на заре».
Третий справа — Зиновий Гердт*



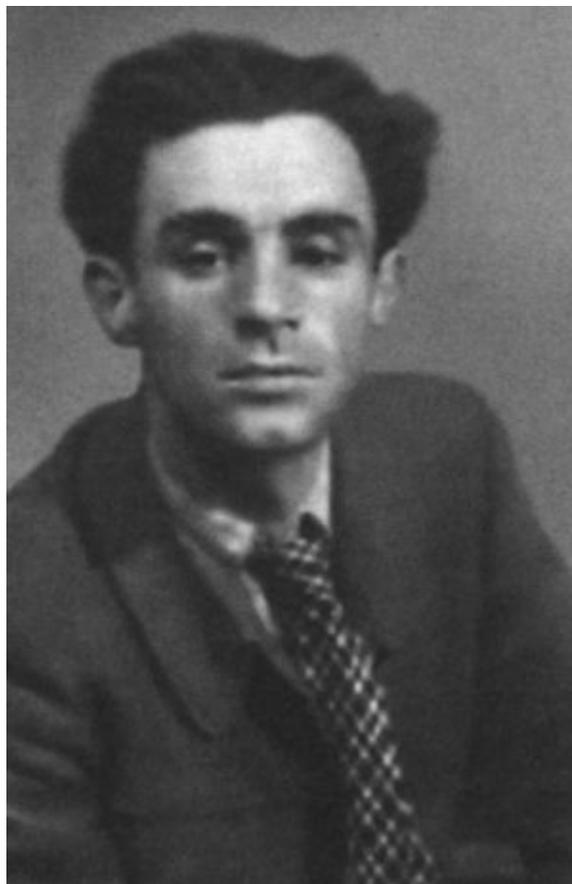
Гердт в период работы в ТРАМе



Гердт (вверху справа) в госпитале после ранения



Медсестра Вера Веденина, спасшая Гердту жизнь на фронте



Гердт в конце 1940-х годов



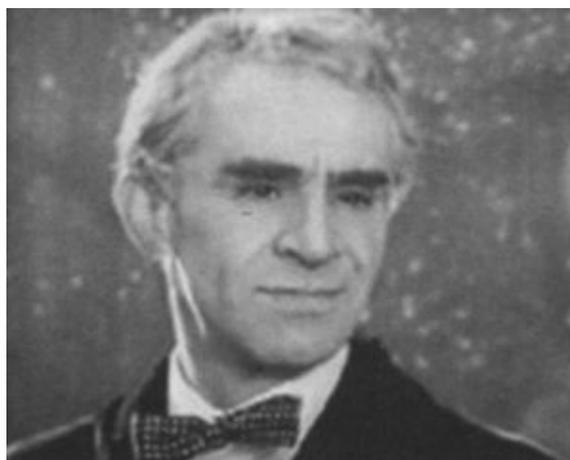
Первая жена Гердта Марина Новикова с сыном Всеволодом



Артист с одним из своих кукольных героев



Гердт с Сергеем Образцовым



Гердт в фильме «Фокусник»



На съемках «Фокусника» с режиссером Петром Тодоровским



Роль Паниковского в фильме «Золотой теленок» прославила Гердта на всю страну



С подпольным миллионером Корейко (Е. Евстигнеев)



С Сергеем Филипповым в фильме «Тень». 1971 г.



Месье Тардиво в фильме «Соломенная шляпка». 1974 г.



Гердт и Татьяна Правдина



Дружеский шарж художника К. Куксо



С Риной Зеленой



Слева направо: Булат Окуджава, Эльдар Рязанов, Зиновий Гердт, Юлий Ким, Белла Ахмадулина



Зиновий Гердт в компании Марка Захарова, Михаила Жванецкого и Андрея Битова



Сцена из телеспектакля «Костюмер». Партнер Гердта — Всеволод Якут



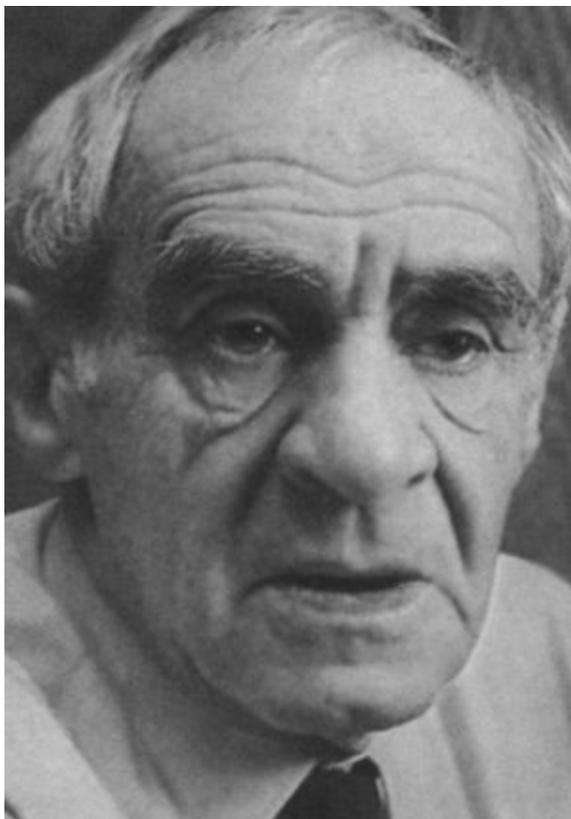
Гердт с молодыми актрисами Еленой Драпеко и Ольгой Кабо



Лидия Либединская, Зиновий Гердт и Матвей Гейзер на презентации книги «Гостевая виза». 1995 г.



С режиссером Ефимом Чеповецким во время озвучивания мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»



Одно из последних фото артиста



Памятник Гердту-Паниковскому в Киеве

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА З. Е. ГЕРДТА

1916, 8 (21) сентября — родился в городе Себеж Витебской губернии в семье Эфроима Яковлевича Храпиновича и его жены Рахили Исааковны.

1932 — окончив среднюю школу в Себеже, уехал в Москву, где поступил в фабрично-заводское училище Электростанции им. Куйбышева. Начал играть в театре рабочей молодежи (ТРАМ) при заводском клубе.

1933 — смерть отца.

1934 — окончив фабрично-заводское училище, устроился слесарем-электриком на Метрострой.

1936 — стал актером кукольного театра при московском Дворце пионеров.

1938 — поступил в театр-студию под руководством А. Арбузова и В. Плучека.

1940 — в процессе постановки первого спектакля студии «Город на заре» сменил настоящее имя и фамилию Залман Храпинович на псевдоним Зиновий Гердт.

1941, март — женился на Марии Ивановне Новиковой.

Июль — ушел добровольцем в армию.

1942, январь — после окончания офицерского училища отправлен на фронт в звании лейтенанта, командира саперной роты.

1943, февраль — тяжело ранен снарядом недалеко от Белгорода.

1944, весна — после излечения демобилизован, вернулся в Москву.

1945, март — рождение сына Всеволода Новикова.

Июнь — поступление в труппу Центрального театра кукол под руководством С. В. Образцова.

1951 — начало работы по озвучиванию иностранных кинофильмов (фильм итальянского режиссера М. Моничелли «Полицейские и воры»).

1959 — получил звание заслуженного артиста РСФСР.

1960 — женитьба на Татьяне Александровне Правдиной, переводчице с арабского языка.

1961 — участие в спектакле Центрального театра кукол «Божественная комедия» (роль Адама).

1962 — первая роль в кино в фильме Р. Быкова «Семь нянек».

Стал первым ведущим передачи «Кинопанорама» на Центральном телевидении.

1967 — роль Кукушкина в фильме П. Тодоровского «Фокусник».

1968 — роль Паниковского в фильме М. А. Швейцера «Золотой теленок». Участие в спектакле Центрального театра кукол «Необыкновенный концерт» (три роли, включая главную — конференсье Эдуарда Апломбова).

1971 — роль Министра в фильме-сказке Н. Кошеверовой «Тень». Озвучивание главной роли в фильме Г. Козинцева «Король Лир».

1974 — роль месье Тардиво в фильме Л. Квинихидзе «Соломенная шляпка». В том же фильме Гердт исполнил несколько песен на стихи Б. Окуджавы.

1976 — роль учителя физики в фильме Д. Асановой «Ключ без права передачи».

1982 — ушел из Центрального театра кукол, став актером Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

1986 — роль Мефистофеля в телеспектакле М. Козакова «Фауст».

1987 — главная роль в спектакле «Костюмер» по пьесе Р. Харвуда на сцене Театра им. Ермоловой.

1989 — роль Арье-Лейба в фильмах В. Аленикова «Биндюжник и Король» и Г. Юнгвальд-Хилькевича «Искусство жить в Одессе».

1990 — получил звание народного артиста СССР.

1996, 18 ноября — умер в Москве.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Актеры советского кино. Вып. 12. М., 1976.

Гердт З. Е. Рыцарь совести. М., 2010.

Львовский М. Г. Зиновий Гердт. М., 1982.

Поюровский Б., Ширвиндт А. Былое без дум. М., 1993.

Правдина Т. А., Гройсман Я. И. «Зяма — это же Гердт!». М., 2007.

Скворцов В. В. Неизвестный З. Е. Гердт. Казань, 2005.

Шергова Г. М. Об известных всем. М., 2004.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит за помощь в работе над книгой: Татьяну Александровну Правдину, Александра Анатольевича Ширвиндта, Исаю Константиновича Кузнецова, Наталью Андреевну Кострову (главного хранителя музея ГАЦТК им. С. В. Образцова), Бориса Павловича Голдовского (заместителя директора ГАЦТК им. С. В. Образцова), Леонида Абрамовича Хаита, Всеволода Зиновьевича Новикова (сына З. Е. Гердта), Владимира Викторовича Скворцова (племянника З. Е. Гердта), Владимира Эммануиловича Двинского, Валерия Владимировича Фокина, Петра Ефимовича Тодоровского, Сару Абрамовну Погреб, Михаила Михайловича Козакова.